



**Анатолий Санжаровский**  
Вас приветствует солнцеликая Ялта!  
**Крымский роман**

**Анатолий Никифорович Санжаровский**  
**Вас приветствует**  
**солнцеликая Ялта!**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68993572](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68993572)*

*SelfPub; 2023*

**Аннотация**

Крымский роман «Вас приветствует солнцеликая Ялта!» – о весёлых приключениях отдыхающих.

# Содержание

1	4
2	10
3	18
4	23
5	27
6	36
7	40
8	51
9	55
10	63
11	73
12	78
13	87
14	94
15	101
16	108
17	118
18	130
19	145
20	156
21	161
22	165
23	178

# Анатолий Санжаровский

## Вас приветствует солнцеликая Ялта!

### 1

Колёку избил жена.

Избила бестактно, грубо, масштабно. Била ж не одна. Била со всей дури напару с новёхонькой сумасшедшей скалкой.

«Боги мои! Я призываю вас в свидетели! Ты, совсем сдурела бабенция! Жила, жила да и подхватись драться. Ну черти её подучили, что ли... Пряма шизанелли какая-то... На родного мужика скалку берёзовую задрала! А родилась же в год овцы... Хэх, овечушка... Забьёт! Последнюю серость из башни вытряхнет эта перьехвостая тупайя. И будешь головкой трясти, как вседеревенский дурасёк Витя Алибо...»

Тоскливая перспектива не согрела Колёку.

Он опало загоревал и неосмотрительно потерял бдительность, отчего скалка, что чаще опускалась на изворотливо подставляемую им ладонь, прочно полыхнула его по спине.

Охнув, Колёка стриганул в распахнутое наразмашку окно и попутно срезал с подоконница горшок с кактусом.

Горшок кокнулся и веерно брызнул унылыми черепками.

Кактус переломился.

Бегушком отхлынул Колёка на безопасное расстояние.

Храбро оглянулся.

Из окна воинственно помахивала вульгарная скалка.

Из-за скалки хрипело:

– Уди! Уди, живорез! Чтоба не видали тебя мои горьки глазоньки! Двух девок и тебя, кобелищу, не могу я больше окармливать одна! Девки что? У девок должность прохладная. Из миски ожкой! На то они и детьё. Но ты-то, кобелюка! Ты! Твоя должность – класть в миску! А что ты, котяра, положил? Дырку от бублика? А самого только пот и прошибает, как лопаешь чужое. Бабье! Урождённый братъ рази может давать?

Колёка виновато насупился:

– Ти, мамэле, гонишь, стал быть?

В ответ из-за скалки боевым ядром просквозил горшок с фиалками.

Фиалки Колёка любил.

«Выбросить фиалки – всё равно что выбросить меня!»

Горшок въехал в тугое тело старушки яблони и осыпался на землю тихим, печальным дождецом мелких осколков.

Это был конец.

Колёка норовисто дёрнул носом.

– Я уйду! – сказал он оскорблённо. – Но считаю своим долгом предупредить. Кое-кто глы-ыбоко заблудится, затей какую непотребь проть меня. И как бы кое-кого не прижгло

бежать ворочать...

Колёка с достоинством приложил руку в поклоне к груди – указывал, кого именно не пришлось бы бежать ворочать.

– Три ха-ха! Мели, кот Емеля, твоя неделя!

– Хватай шире. Год! Мой нынче год! Кота!

Колёка гордо выпрямился и пошёл.

Он степенно прошествовал за угол дома. Остановился.

Послушал дверь.

Нет, и за дверью не слышалось никакого движения. Никто не бежал молить его остаться. Ну что ж, побегут! Чудок попозжее туда! Колёка великодушен, может и снизойти, пару минут подождёт. Пока не сварится курья горячка.

Но не ждать же в открытую!

Колёка выставил одну ногу и примёр, держит на весу.

Это на тот боевой погорячливый случай, чтоб не застигли его откровенно ждущим.

Так, в уходящей позе цепко вслушиваясь в дом, он проторчал столбиком на месте и минуту, и две, и три.

Но за дверью шаги не спешили к нему.

Ни одна холера не летела ворочать его.

Оттопыренная нога занемела. Он устал стоять на одной.

«Таковски можно и в сам деле умыться... По телику слышал... У япошика гусайа<sup>1</sup> вон шпацирует за своим благовериком в трёх шагах... Дистанцию держит... А эта... – Он бе-

---

<sup>1</sup> **Гусайа** (японское) – дура. Так обычно в Японии муж зовёт жену, а она навел – чивает его всегда только господином.

режно погладил зашибленную челюсть. – Так починить дорожную хлебрезку... Оха-а... Умотай на другой конец света – и ухом не поведёт... У-у!.. Гляну-погляну, распустили мы своих толстопятых гусынь! Демократия...»

Колёка ватно прикрался избоку к окну.

– Слышь... драчунелла, – тоскливо забубнил в оконный простор. – Надоел мне этот весь фиксаж-мираж... Ты побранивай за дело... Не возражаю... А побранив, посла не кори...А ты... Вторые сутки бесконечная побранка! Мне таковецкий бейсбол не нужен. Всё! Ти, лопнул мой терпец! Я обещал – я ухожу. Дело в прынцип уже въехало...

– А чего эт ты докладаешься? Мужик! Мужик прозывается! У тебя хрен ма гордости даже уйти по-мужецки! И кому где ты нужный? Таких... Вашего брата по тринадцати на дюжину кладут, да и то не берут! И куда ты, телёш, побредёшь?.. Разнесчастный гулькяй!<sup>2</sup> Тебя ж лень да голод у первого плетня свалят. Мужик! Где мужик? – Она заботливо огляделась вокруг. – Где? Нету мужика. Одно позорище! Уйду!.. Нагнал холоду... А всего-то в игольное ушко ураган дует... Бездольный колоброд! Подожгло уходить в одних носках... Не смехи!

Колёка глянул – действительно, в одних носках.

Из окна вылетели его кривые башмаки.

Колёка галантно им поклонился.

Уж теперь-то он наверняка уйдёт. Есть в чём идти.

---

<sup>2</sup> Гулькяй – лодырь.

Есть и на что идти!

Колёка будто чуял, сдавит его чёрный переплёт. Придётся отстёгиваться от дома.

Это ж в крови у великих!

Вон аксакал Лео Толстой тоже уходил. Хопнул дедюня бабуриков и в божий путь!

Уйдёт и Колёка.

И к уходу загодя скопил, соскрёб по жениным сусекам значный стольник, вlepёхал под стельку на пятке окривевшего башмака.

Он мстительно поклонился скалке в окне, недобитым на подоконнике горшкам с крапивкой, с крестовиком, с огоньком, с геранью, с розой, с женихом, с невестой, с декабристом.

Игристо помахал ручкой и пошёл.

На третьем шагу обернулся и крикнул торжествующе:

– Татьяна! Моё счастье без изъяна! Я ухожу! Хлестаться в десну<sup>3</sup> не будем. Некогда! Видишь же! Ухожу!

– Но и ты, дуропегий, видишь, что я не утопаю в слезах. Нужен ты тут, фонарь бубновый, как кенгурихе авоська! Мотай на все четыре ветрушка! Носит же таковских земля... Хвостомер! Доехать до двадцати пяти и ни копыа не пригнать в дом! Ни дня в работе! Такого второго дурноеда на всём земном шарушке нету. Артист Хренкин!

Колёка не знал, что б его такое горяченькое отстегнуть в

---

<sup>3</sup> Хлестаться в десну – целоваться в засос.



ответ, и, шально гримасничая и дёргая над головой руками, в дурнопенье запрыгал на пальчиках, точно под ним была раскалённая сковорода:

*– Их да на заре-е ты меня-я-а да не буд-ди-и...*

*Их да на заре-е у тебя-я-а на пупке бигуди-и...*

Окно брезгливо захлопнулось.

Экой дурнины и от Вити Алибо не слыхивало!

Закрылось окно – и в Колёке что-то умерло.

Ему стало стыдно не стыдно, а какая-то неясная неловкость придавила за большой выбрык, и первое желание было толкнуться к окну, ласково постучать и в покорливости втиши попросить прощения.

Но он не вернулся, лишь бросил себе: мужчина идёт только вперёд! Стыд не дым, глазами хлопать можно!

И ещё суматошной пожёг беглым шагом дальше, словно за ним летел кто вдогон, а он горел поживей убраться.

## 2

Желобок худой тропинки выкатил его на большак.

Большак простёгивал всё поле.

Колёка промашисто шёл-бежал и когда оглянулся, из-за державного, тяжёлого жёлтого колыханья поспевающих хлебов увидел лишь макушку своей хаты. Он побрёл медленней, как бы нехотя, не убирая глаз с дома, приседающего, печально уходящего в праздничные хлеба.

И когда совсем не стало видно дома, он остановился очумело.

Уходить? Куда уходить? «Рождённый ползать, куда ты лезешь?» К кому уходить? Где меня кто ждёт? А может, всё-таки вернуться?.. Татка человечина. С этой женьшенихой жить можно. Да и куда я, бзикнутый, без неё один? Куда я, Коля – перекасти-поле, ни ступи, одна лишь тень рядом... Мда... Кимоно-то херовато... Подохну, как слепой кутёнок под первым же забором. Перекрою сам себе дорогой кислородишко...

Однако!

Вспомнилось, как выпевала Татонька.

«Да это ж убойная тягомотина! Ти, сплошные враки!.. Что добежал до двадцати пяти – это так. Правдуня твоя. Но что ни копы и разу не занашивал домой – пёсий натуральный брёх. Занашивал! По триста! Копеюх... Ну... Тут я не отсут-

паю от её единицы счёта. Говорила б она про рублики, и я б сказал, что припёр снова целых три рубляша! Так зато каковские это рублищи! Оторванные от великого искусства!.. Не за погрузку свёклы. Не за починку коровника. Не за пахоту. А за кино! И за какое!..»

Колёка умедлил шаг, мечтательно и грустно повернул лицо в сторону, где когда-то снимали не то «Войну и мир», не то ещё какой фильм. Точно он уже не помнил.

Бородинское сражение...

Приехали набирать на массовку. Никого из села не кликнули. Никогошеньки! А Колёку персонально позвали. Одного со всей Сухой Потудани! Правда, прочих председатель не пустил. Уборка!

– Я, – сказал председатель, – могу вам только одного Коляку Самоделова удружить без боя. Волóча<sup>4</sup> ещё тот! Он у нас вольный казак. Ни к какому деревенскому делу его не пригнёшь. Пускай хоть у вас повоюет. Можь, убьют по нечайке. Так потеря невелика будет для дорогого Отечества.

Это он так. Для разгонки мысли. Для юмора.

Ну, юмор юмором, а Колёка достойно представил свою Сухую Потудань на мировом экране.

Надели на него всё военное той поры кутузовской. В боевое действие пихать раздумали, велели глубоко сосредоточиться на роли убитого народного героя.

Лёг Колёка вниз лицом в только что из-под иголочки об-

---

<sup>4</sup> **Волóча** – человек, шатающийся без дела.

мундировании, колодой провалялся на земле с полдня. Всё сымали!

В Потудани фильм шёл один день на двух сеансах. Колёка загодя взял три билета. Один на детский да два на взрослый. И на Татку.

Задумка была магистральная. На детском Колёка один внимательно просмотрит. А уж на взрослом смотрище будет Колёка Татке консультантом, чтоб та не зевнула дорогую сцену с ним. Не каждый день потуданские снимаются в кино. И не кто-то другой, а именно сам Колёка. Один изо всей Потудани! Подарок жёнке будет сладкий!

Наверняка дело выбежит на большой. Торжество какое! Не грех же ведь по такому случаю накрыть целую поляну да пофестивалить! И для начала Колёка ещё до кино слетал в мавзолей, в винную лавку, за фuffyриком.

Но до поляны радость не добежала.

На детском сеансе Колёка не увидел себя.

И не стал звать Татку на взрослый. «Посмотрю ещё сам повнимательней. Может, я сам зевнул от перенапряга?»

И когда после картины народ повалил на выход, Колёка зверино рванул в кинобудку.

Ещё с порожка заорал на механика:

– Ты, кирюхин, знал, что я буду в этой картине! Ты меня и отчекрыжил! – и тряхнул тщедушика механика за грудки.

– Ты меня за вымя не хватай... И кончай парить бабку в

красных кедах! Ничего я не вырезал!

– Тогда почему меня нетушко? Один же сапог уцелел! Может, я и во второй раз зевнул? Давай крути мне одному киноху. Вот мой билетко!

– Хоть у тебя билет в полном ажуре-абажуре, не надорван, но одному целую картину я крутить не разбегусь.

– Будешь! Знаю я тебя... Что тебе в уши надышат, ты то и сделаешь...

– И про что твоё дыхание?

– Тут к дыханию набавушка пристёгнута... Вот тебе, пьянист, матьстимул! – и Колёка пристукнул дном пузыря по столу. – Крути те места, где дорогие товарищи убитые лежат!

– За такой харч, – засиял механик, – будем крутить, пока всех мёртвых не оживим!

Часа три они крутили ленты. Но кроме сапога ничего от Колёки не отыскивалось.

Единолично опорожнив панфурик, механик сказал:

– Может, к твоему сапогу пририсуем твоё плевало? – и потрепал Колёку за щеку.

– А сможешь?

– В том-то и помидор, что не смогу. Тут тебе не «Мосфильм». И даже не «Баррандов»...

Колёка не верил, что от него уцелел в фильме лишь сапог. «Это киномеханик схимичил! Это он аннулировал меня как класс!»

И тайком ото всех знакомых Колёка на велосипеде изле-

тал все соседние сёла, где на проверку смотрел *свой* фильм. Но себя так и не увидел.

Правда, Татке он однажды раз прихвалился неуверенно, что он есть в картине. Да не весь. Один сапог уцелел. Но – уцелел!

Доказать Колёка не мог, что это именно его сапог на его родной ноге, и пришлось Татке принять этот сапог на веру.

Под момент она покалывала его шпилечкой:

– Ну, артист, наголливудил! Скоро засядешь за мемуары «И Моя Жизнь в искусстве»?

– Ти, бобырь я не тщеславный. Однако скажу. Я один-разъединый со всего села казаковал на съёмке! Пускай кто ещё из наших вякнет, что был! Хре-енушки!.. Полежал, даже задал храпунца на родимой земельке. А мне ещё трояшкой поклонились. Задуриком не отва-а-алят!..

Колёке не понравились, как коту мыло, и куражливые крики про дармоеда.

«Ну и что, что не работаю? Про это ж все знают! Так чего визжать на всю Галактику? Можь, у меня аллергия на деревенскую арбайтен унд копайтен? А ты сразу гулькяй, гулькяй!»

А промежду прочим, Боженька не фраер. Боженька всё видел!

Не сидел я век сиднем. Я пробовал честно писать. Всё-таки искусство звало...»

Колёка уважительно погладил нагрудный кармашек ру-

башки. В кармашке под застёгнутой пуговкой лежала бомбуля для дорогуши Таточки, вчетверо сложенная эта газетная вырезка.

## **Ученые назвали причину женской неверности**

*Американские ученые выяснили, что женщины, в крови которых содержится большое количество гормона эстрадиола, склонны к интимным отношениям с несколькими партнерами одновременно. Таким образом, в женской полигамности виноваты гормоны, утверждают специалисты.*

*Эксперимент, показавший неожиданные результаты, был проведён среди нескольких десятков представительниц прекрасного пола в возрасте от 17 до 30 лет. Все они принимают противозачаточные таблетки. Выяснилось, что у 78 участниц эксперимента завышен уровень гормона в крови, который отвечает за половую активность.*

*Таким образом, большинство женщин до 30 лет являются ветреными и не склонны к серьёзным отношениям, подытожила доктор Кристина Дуранте.*

Конечно, злорадно думает Колёка, неверных женщин нет. Это выдумки мужичья. Гоняют тут мужики порожняк. Да и фамилия у лечилки разве ничего не говорит сама за себя?

Но наша печалька не об этой Дуранте. У нас своя Дуранте-юшка, ненаглядушка Татуленька. Как бы прознать, не слишком ли много в ней этой проклятухи эстрадиола?

Ну как выяснишь, ветренная ли Татка? Или, может, она на весь ураганище уже давно тянет? Куда б его постучаться? Кто подможет мне прояснить милую картинушку?

Стыд подпекает Колёку. Он уже выяснял одно дельце и что из того выяснения слепилось?

«Я никак не расчухаю, почему журнал про все болячки навеличивают «Здоровьем». Мы прижили уже двух девок, когда я настрогал в это самое «Здоровье». Так, для разминки руки и ума... С грамотёшкой у меня лёгкий кризис. Накарябал одну-то фразоньку, а букв штук пять, чую, не хватило.

Сочиняю я экономно. Буквы сами из слов выпрыгивают. Чаще *e* убегает от меня. Бровью водил, локтем писал. Откуда что бралось!

*У моей жаны при первом, извиняюсь, интиме не было кровей ни голубых ни протчих иных, а она вусмерть клилась-божилась – честнейшая двушка. Может ли подобно случиться?*

Знамо, дым без огня не живёт.

Конечно, ты не какая там эстафетная палочка. А всё ж, что ты девушка, я налегке сомневался. И всё одно я пощадил тебя. Не выдал фамилию, не сунул адрес.

Да они там, похоже, спелись с тобою. Только как? Я ж им, кискадёрам, повторяю, не давал ни адреса, ни фамилии.



Иначе разве б ответили в журнале так (без конкретного адресата, но – мне!), так по-научному ясно, что я со зла всё буковку в буковку упомянул.

«Дефлорация (лишение девственности) обычно сопровождается небольшим кровотечением. Но его может не быть, если плева отличается хорошей эластичностью. В таких случаях она не разрывается, а растягивается, потому-то крови и не будет. Разрыв девственной плевы не произойдёт и при небольших размерах полового органа мужчины, неполной его эрекции».

Убили!

У тебя всё на отличку! Всё классман! А у меня и размеры уже скромней клопиных, и полноты уже невдочёт...

В кино уцелел хоть один мой сапог.

А охотку к литературе на первом же шагу подсекли и во-все смяли. Я перестал писать. «Не расцвел и отцвёл...»

Может, моя шевелилочка, и посеёчас, после пяти замужних лет, при двух в конкретной ясной наличности девках, ты всё ещё нерасколупанная амазоночка?..»

Колёка дурашливо раскинул на полземли свои грабельки, крутнулся назад, к дому, и ядовито пропел:

*– Ах, какая я была  
В девках интересная.  
В девках девку родила.  
Замуж вышла честная!*

### 3

Большак лениво переливался, перепрыгивал через железную дорогу.

Но Колёка зацепился за зебристый шлагбаум, остановился и не пошёл дальше.

Умаянно присел.

Дорога и жара распластали его по бугру.

Он тотчас уснул, упал и пропал, едва воткнул голову в чахлую тенёшку от жиденького одинокого кустарика.

И видит Колёка сон.

Обиженный на весь мир из-за Татки, побежкой спускается он с бугра боком и добросовестно, бескомпромиссно возлагает свою бедную головушку на рельсы. Под скорый.

Вот-вот просквозит на юг.

Ну, лежит Колёка на остром горячем каменешнике. Терпеливо ждёт, бдительно ждёт.

А скорый, как велось, запаздывал.

Лежал, лежал Колёка в ожидании. Сморился и уснул. Во сне уснул.

И в этом, уже втором, сне видит, как налетает на него скорый.

Дрогнул Колёка. Схватился на ноги да бечь.

Но что-то раздумал.

Стал меж белыми нитками рельсов быком. Кулачишки на-

изготовку. А ну-к тронь!

Тукнулся электровоз в Колёкин лобешник – с копытов вон. Погремел в яр, одни колеса бело замелькали.

Да катился только сам Колёка. Во сне.

Проснулся уже в канаве.

У самых ног крутобокого бугра.

Пролупил глядела – ан мчит скорый прямушкой на Колёку!

Божьим матом вымахнул Колёка назад, на серёдку бугра. Отпыхивается и замечает: упрело сбрасывает скорый обороты, примораживает ход.

А там и вовсе присох персонально у Колёки.

– Чего стали? – залежалым голосом ликующе спросил он молоденькую веселуху, выдернулась в распахнутую её вагонную дверь.

– Тебя, сизарёк, забыли взять!

– Так эт дельце исправимо! – Колёка суетливо подбежал к проводнице. – Вот везетёха!

– Чего, беглуша, разлетелся, как голодный кот на мышшь?.. Ишь, бах – и в ямку! Билетишко у тя есть?

– Ти! Оно и у тебя нету. Однако ты катаешься!

– Я при исполнении! – поощряюще улыбнулась жеманница.

– Вдвоёмко же лучше исполним! – с лёту бахнул он.

– Я как-то вся в плотном сомнении...

– А ты не сомневайся. Как я!

На уровне его лица были её ножки, сытенькие, ласковые, озорные, и Колёка приварился к ним тупым, ошарашенным взглядом. Трудно заворочалась в нём где-то слышанная генерал мысль: «Какое сходство между телевышкой и женской ножкой? Чем выше, тем больше дух захватывает»...

Заговаривая с молодкой с какой, он редко когда подымал глаза выше её талии. Вроде стеснялся, кажется. Интересы его тут высоко не залетали.

«Муравыхина талийка... Роско-ошная барынька-картинка... Ти... Как же взнудать эту капризулю блошку? Невдахе и в яйке кость попадается... И чего выёгиваться, в Дарданеллы твою мать? – опало думает он, вмельк глянув вперёд вдоль поезда. Дали зелёный. – Как же укоськать эту мормышку?»

Просительно забормотал:

– Дай слово лаптю... Я не люблю размахивать кулаком под одеялом! Я напрямки... Слышь, королевина, возьми божий дар, – тукает себя в грудки, – на сохсохранность... Не пожалеешь... У тебя в рубке я много места не займу... Да и богацко... вызолочу... Век будешь довольна!

Она чисто рассмеялась.

– Честное пионерское?

– Честное пионерское в квадрате!

– Живописно треплешься, королевич. Намолол на муку да на крупу... Ну! Наша печь в дровах не разбирается. Сигай!

Она посторонилась. Вжалась в глубь тамбура.

Уже на ходу Колёка поймал поручни и, мурлыча:

*– Фонтаны били голубые,  
И розы красные цвели-и...*

эффектно подтянулся и как бы нехотя, с ленцой, на красоту занёс прямые ноги на железный лист, что прикрывал ступеньки.

Колёке нравилось всё. И то, что поезд бежал в Крым. И то, что это из-за Татки очутился он в этом развесёлом вагоне. И то, что никакая теперь душа его не отыщет. И то, что проводница оказалась студенточкой и счастливо заглядывала ему в рот.

«Вдарю слегка по югам, отдохну, – раскинул в мыслях умком. – А то разь это жизнелла? Как у седьмой жены в гареме! До двадцати пяти докувыркался, а на юге и разу не попасся наш котофейка!.. Но вот случай подкинуло... Что Боженька не делай, всё на лучшее всегда выведет. Назло тебе, Татулечка, съезжу хоть одним глазком гляну на морцо, хоть разок скупнусь и назадушки в родной вигвам! Я ж, блинский блин, совсем не гуливал на югах! Не боись, не застряну там навечно. Всего-то разушко окунусь и досвидос, Чёрненькое! Выполню программу-минимум да и бежмя к тебе под легендарный под сладкий бочок!.. Ты к той поре точно уж успокоишься...»

За окном торопливо лились назад под солнцем усталые державные поля в жёлтом. Бежали к дому.

Раскатился Колёка в болтовне, в подробностях расписал свой сон на бугре.

– Понимаешь, боднул я целый составчик, он и кувырк. Во-она какой у меня лобешник!.. Ти... Из-за такого дерьмонёнка поезд народу сгиб... Эхэ-хэх... Как говаривала моя бабка, жизнь прожить не лукошко сшить. То ли ещё будет...

– А ничегогогошеньки не будет, – томно потянулась студенточка и смешливо тыкнула бледным пальчиком Колёке в нос, намахнула на Колёку свою фуражку. Железнодорожная фуражка ему очень шла. В ней он адски нравился студенточке. – Бывает, – всё задоря его, игриво тянет она, – бывает, и лягушка чихает, и платочком носик вытирает...

В проводниковом купе домашне уютно, хорошо.

Дрожь встряхивает Колёку.

Колёка пихает руки глубоко в карманы. Боится, что они без его ведома, безо времени цапнут студенточку за сановитые коленушки – так безотчётно-радостно и далеко выскочили любопытные из-под края отчаянно куцей юбочки!

И в жаре бормочет про себя Колёка:

«Повар пеночку слизал, а на кисаньку сказал...» Ух этот по-оварюн!.. Ёкэлэмэнэ!.. Вылитый хулиганишвили!..»

## 4

В первом купе – вагон был плацкартный – ехала какая-то толстёха бабка с внучкой лет четырёх.

Время от времени канючливая внучка всё допытывалась:  
– Бабичка! А икто понесёт наши чумаданики?

В один раз бабка ответила, что понесёт дед Пихто, в другой раз – ишак в пальто, в третий – чёрт, в четвёртый – Боженька, а в пятый послала с верхней полки:

– Да застрели тебя горой! Отвяжись, чума чудобная!

Но в Симферополе, когда поезд уже подтёрся к платформе, девчонишка в испуге закричала аврально:

– Бабичка! Так икто ж понесёт нам наши чижолые чумаданики?!

Все в вагоне заулыбались наивности маленькой нудяшки. Заулыбались равнодушно, пусто. Лишь бы приличие соблюсти.

Только Колёка – первый стоял уже на выход у самой двери – дрогнул, услышав растерянный детский голосок.

Демоном продрался сквозь горы вещей, кучки тел, заставивших проход, и галантно поклонился девочке:

– Я понесу ваши чумаданики.

Через минуту Колёка был увешан вещами с ног до головы. Два узла на груди, два на спине. И руки не болтались без дела. Тяжеленные чемоданищи вырывали из него руки.

Горушкой еле выпихнулся из вагона.

Как-то виновато глянул на студенточку, – скучными кивками провожала на платформе своих пассажиров.

– Чао, какао...

Она кисло в ответ усмехнулась:

– Прощай, дружок кефир.

Не подымая головы, навьюченным верблюдом степенно нарезал он вслед за чьими-то босоножками.

Куда все, туда и я!

С прибегом – экую тяжелину допри! – воткнулся в хвост полукилометровой очереди.

Очередь оказалась на ялтинский троллейбус.

«Ну, – думает Колёка, – раз судьбе угодно, подадимся и мы в «теплую Сибирь».<sup>5</sup>

Бабка пошла дальше.

Широкой грудью проломилась вперёд прямо к кассе. С дитём! Имею полное правие по-за очереди!

В два огляда бабка подкатывается к Колёке с билетами, с хныкалкой внучкой.

– Алёнушка! Ну ты уж постарайси. Заживи таку горю... Ну не плачь, звоночек, – отходчиво сюсюкает бабка.

– Как не плачь! Ка-ак не плачь!? Ты больно делала ручке! Больно! Вот так! – Алёнка выворачивает ручонку. С подкруткой сильно щипает себя выше локтя. – Вот так! Вот так!!..

---

<sup>5</sup> Антон Чехов называл Ялту тёплой Сибирью.



– Ну-у, расстрели твою лихой! – конфузится бабка. – Ты хошь в этой толкушке без очерёдности выдернуть билеты и чтобушки по случайке за руку не крутнули!?

Алёнка задумчиво слушает бабкины оправдания и совсем серьёзно роняет:

– До чего ж ты мне надоела...

– Припрячь язык. Ты что, попрыгуха, с ума съехала?

– И съехала! И съехала! А ты с ума спрыгнула! Убила б тебя и убежала назад в Латную к дедуньке Митрохе. Дедунька наказывал же тебе не бить меня! Не бить!! Не бить!!!

– Ну, подруга! Ты эт всё буровишь, не пожевавши как след...

«Мои девчатулечки на язычок поаккуратней, – гордовато думает о своих дочках Колёка. – Мои такие шайбочки не подбрасывают...»

Алёнка испытующе смотрит на Колёку, будто что важное решает про себя.

Поймала растерянность в его глазах, торжествующе выпаливает так, что все вокруг невольно сносят к ней взгляды:

– Я бросаю тебя, бабка-криволапка! Ухожу к дядь Коле!

Девочка обхватывает обеими жаркими ручонками Колёкину ногу, жмётся щёчкой к коленке и затихает, перестаёт плакать.

Светлея, Колёка кладёт ей лопатную ладонь на голову. Ласково ерошит коротко обхватанные тёплые волосёнки.

– Вот гомнючка! – придавленно, сквозь зубы ворчит бабка

и добавляет уже погромче: – Видали, наискалась кавалерка! Как же! С первого глаза она, любовь, завсегдашно горячей...

Алёнка её не слышит, не видит.

Ни на миг не отлипает от Колёки.

Даже когда шатнулись к троллейбусу, она, гордая, ухватилась за сетку, что нёс Колёка. Так и вбежала в троллейбус, держась крепко за сетку. И пока шли всё время отбивалась, отдёргивалась от приставучей бабкиной клешни пустой.

В троллейбусе она напрочь высмелела. Взобралась Колёке на коленки и тут же сморённо заснула.

Благостно жмурясь, Колёка до самой Ялты ехал с девочкой на руках.

И даже не подумал передать её бабке.

## 5

А в Ялте уже и бабушку подпекла охота. Загорелось старой, чтоб вертанулось как-то так, чтоб Колёка не упылил от них.

Колёка тоже – чего лукавить? – немного привык к своим попутчицам.

Но как ни жалко расставаться, дорога кончилась.

Прощайте!

Высадил бабушку с внучкой из троллейбуса и тут же, по привычке, припнулся к хвосту петливой очереди. Скоро выяснил, кисли это в квартбюро.

Подозрительно быстро двигалась очередь.

– Мне б коечку одну где-нибудь.

– У нас сдают комнатами. В комнате минимум четыре койки. А одну койку кто в комнате поставит? – устало спросила будочка у Колёки.

– Хэх... Гросс гадство... Это ж бомжаторий! Для меня могли б и поставить однушку, – вслух подумал он.

С пустом отваливать было неловко.

Он огляделся, как бы ища, что ж его такое ещё спросить.

– Да! Послушайте! Как у вас отношение к ООН?

– Самое тёплое.

– Ти... На юге это эстэсно... Позвольте наводящий вопро-сец. Как вы относитесь к выполнению решений ООН?

– Гражданин, проходите! Вы что, перегрелись?

– Нет, это вы замерзли тут у себя в тёпленькой Сибири! – обрадовался Колёка зацепке. – Это у вас отморозило память. Отогрею, напомню. Нынешний год ООН объявила годом обеспечения жильём всех бездомников. Извините, я из их числа. Тем не меньше что я слышу?

Будка принципиально воткнула глаза в книгу.

Колёка был последний в очереди. Спешить некуда. Не грех осмотреться.

Одну сторону будки, солнечную, закрывал плакатный портрет шумной певички.

«А-а, чистоглазка, здорово! Так это ты жаловалась на неделе по телику «Нам часто в жизни не хватает друзей и теплоты»? Услышал зов беды – прибыл-с. Чем могу-с, тем и помогу-с!»

Колёка кивнул на певицу:

– Ейнюшкин адресочек пожалуйста...

В окошко вывалилась по пупок древняя старуха с неквалифицированно запудренной морщинистой шей.

– Были б вы Больной,<sup>6</sup> дала б... А так... Да кто вы такой, чтоб давать вам её адрес?

– Будущий муж... Штатный аист на крыше... – лениво отслоился Колёка от будочки и, меланхолично вздохнув, замурлакал прилипый мотивчик: «Только, только, только, только этого мало...»

---

<sup>6</sup> **Больной** – солист группы «Модерн Токинг» (Modern Talking) Дитер Болен.

Куда ж теперь? Где искать дупло?

У квартбюро кипел людской котёл.

Одни предлагали жильё, другие гонялись за ним.

Но кого Колёка ни спроси, от него, от громоздкого косяка лохмогрудого, всяк норовил поживей вежливо отскочить, постно ужимая губы.

И лишь один дедок тараторливый, вертлявый, бесшабашно сдававший комнатёху на двенадцать персон, сам подкатился с тарами-барами и тут же свернул слова на певичку.

– Она живёт на Гоголя... Возля меня. Подь сюда, подь сюда, бездомовный бонза!<sup>7</sup> – поманил худым чёрным пальцем. – Угнись, верста!

Колёка послушно наклонился.

Бесхлопотной, как игривый кот, – такой с горем не вяжется, – старый пим раскатился с угрозливым вдохновенным подвывом лепить стихи.

Вшёпот.

На ухо.

*– Если ты обойдёшь мой дом,  
Град и гром на тебя, град и гром!  
Если ты моей сакле не рад,  
Гром и град на тебя, гром и град!..*

– Где ж твоя сакля, Хасбулатушка?

---

<sup>7</sup> **Бонза** – представитель номенклатуры КПСС.

– А! Где рос, там и выкис... – Старчик кинул чёрной рукой костлявой куда-то в горы.

– Мимо! – вздохнул Колёка. – Умный в гору нейдёт!

– Слишком умный – брат безумному! – укорно отхватил дед и уёрзнул, потонул в толпе.

«Ти, какая чёрная несправедливка, – сомлело думает Колёка. – У очень дорогого товарища Сталина была вон аж двадцать одна дача! А тут рядовому труженичку ночку перекрыть негде... Отличично!»

Делать нечего.

Колёка побито побрёл назад к остановке, где оставил бабку с внучкой.

Спроси, зачем туда идёт, он бы и себе не объяснил. Прикипел, что ли?

Горестно подумалось, если не застану их, останусь один, совсем один в сомлелой, в очумелой от солнца пустодушной Ялте.

На счастье, бабка с внучкой там и прели при горке вещей, где он высадил их из симферопольского троллейбуса.

Завидела Колёку Алёнка – со всех ног бросилась к нему. С лёту счастливо воткнулась в его коленку.

Ожила и бабка.

– Ну, как вы тут? Без ссор? Без кровопролитий?

Бабка смято махнула разом обеими руками.

– Ой!.. Избави, Боже, от кулака блоху... Со мной она в ссоре, тольке с тенью с моей дружа... Никак не свяжем, как

однем добираться. Сидим без дела, киснем, как мёд... Ты-то чё наискал?

Колёка свёл подушечками большой и указательный пальцы:

– Красивый ноль!

– Ну и ладуньки! – ободрительно сказала бабка. – Айдаюшки с нами. Давай-но чтобушко одним кагалом держаться... Вместях будем на собак лаять.<sup>8</sup> Со своей радостью я сюда с-из молоду каждый год наведуюсь. В прошлом лете жила у самой у центра... На Чехова... Три шага – море, два шага вбок – танцплощадка... Бли-изка... У меня знакомцев там полная лавка. Писала одной... Ждё... Где двух, тамочья и третьего, бреша, положит...

Увы, бабка сама оказалась без приюта.

Квартирная воеводша, у которой бабка оттолклась в давешний наезд, сказала, что у неё всё под завязочку глухо забито. Не то что бабке с девкой – прусаку негде перебедровать ночку.

Бабка к соседке. К Мельничихе. К Мельнице. Так навеличивали во дворе Капитолину Пышненко.

Глянул Колёка на Капушку – его потом так и обсыпало.

«Ти... Богате-ейская бомбочка... За неделю не обежать... Эта мормониха с весёлой валторной<sup>9</sup> кого ни подай в айн момент на папирску присушит... И пожалуйста! Мы и без

---

<sup>8</sup> На собак лаять – бездельничать.

<sup>9</sup> **Валторна** – зад.

папироски не проты причалить к этой любопытшечке... Одному на юге... неприлично... И у ежа есть подружка жизни. А чем я хуже ежа? Чем?...»

Торчит перегретый солнцем Колёка посреди двора, у колонки, тянется ухом к жужжанью бабки с круглявой Мельничихой и никуда уже ему не хочется идти больше. Хочется прикопаться здесь и только здесь.

«Раз уж поскользнулся, то заодно и отдохну... Только, чую, отдыха не получится. Боюсь, как бы я экспромтом не поцарапал этой трале невинность...»

Кутаясь и без того в тесный кургузый цветастый халатишко, Капа весело укатывается колобком во вторую от правого края дверку, размахнутую до предельности нарастопашку.

Дверей в ряд всего пять. По числу семей во дворе.

Все двери распаренно размахнуты нараспах, будто перепрели от жары, и в то же время деловито поджидают, зазывают любого бездомника, готовые проглотить его в свои темнеющие недра, в какую в первую он ни влети дверь.

– Мельница намолочила нам такеичкой муки, – докладывает бабка Колёке. – Две ночки кавардак. Зато потом благодатушка Божья сплошняком! Вхожу в пояснению... На две ночи одружила нам сарайку. Там у ей освобонится фатера. Мы перебегаем на фатеру. Пойде?

– Побежит!

Минут через десять наши приезжане вошли под свою крышу.



Правда, вошли не все сразу. Вжались пока только бабка с внучкой.

А Колёке уже и не вдавиться в этот чудильник.

Некуда.

Не было на Колёку места даже просто постоять.

А вот так сразу, с дороги, садиться-валиться на белые хрусткие простыни, которыми только что застлала Капа койки, было неудобно.

Помялся он у порожка, помялся и тут же расселся баринном на корточках.

И уже с корточек пустился по-орлиному зорко, бдительно разглядывать свои апартаменты.

Сарай имел довольно приличный, презентабельный вид.

С первых глаз и не скажешь, что это сарай.

Потолок оклеен рулонной безукоризненно белой бумагой. По полу чистенький линолеум. Стены одеты в пролетарские обои в горошек, свеженькие, и всё распестрены артистами. Ротару, Жеребяну, Суручану, Сундучану, Кобеляну, Голубяну... Весёлая компанелла.

Две кровати были кроватями лишь до той минуты, пока Колёка аккуратненько не раскусил, что это вовсе и не кровати, а так, чёрт те что на колышках.

Сараюха квадратный.

Одна кровать, правда, натуральная, стояла во всю свою длину вдоль дальней от двери стены.

Но уже поставить во всю натуру вторую нельзя.

Кровати налезали одна на одну. Тогда вторую распилили на две. Одну половинку её приварили к боку полной, к главной кровати, которая по совместительству стала продолжением и пристройки.

То есть, шевельнул Колёка заваливавшаяся извилинкой, и впрямь заночуй мы тут, у наших пяток с бабуленцией будет, похоже, вынужденный тесный контакт.

Для пристраховки в местах сварки под кровати припаяли стоймя железные чурки.

Всё капитально! Всё на века!

В сарайке был один кроха столик. На нём дорогой японский магнитофон завален вразброс пластинками.

Сверху на пластинках наполовину разгромленная «Тысяча и одна ночь».

«Что нам книжечки... Тут своя тысячка и одна ночка подкатывает!»

Колёка отметил, что по стеночке над бабкиной койкой протянута струна. На ней на плечиках и внакидь, буграми, висели платья, костюмы, блузки, сарафаны...

Весь гардероб хозяйки и её дочери.

«Милое гнёздышко. Очаровашка... Только в полный рост не встать. Голова выше крыши... Ну, я здесь разгуливать не собираюсь. Всё-то и печали отхрапеть пару тёмных ночек... А там и назадки к своим...»

Тут Алёнка в каприз въехала в горячий:

– Бабуха! Ести! Ести хочу! А ты совсема не видишь, что

у меня пузичко совсема выпустило!

Вжала бабка под кровать своё *приданое* и зарысила на угол за молоком.

## 6

Нарочно выпроводив бабку и почуяв вольняшку, Алёнка вёртко взбирается во дворе Колёке на плечи.

Нескладистый Колёка подымается с корточек.

– Уха-а!.. Как высоко! – взвизгивает Алёнка. – Ка-ак же высокоще!

Вкогтилаась ножонками Колёке в бока, будто на лошади была, егозливо затукала коленочками его по щекам.

– Дя-ядь! Покатай коником! Коником!!

– Коником так коником... Ти! – норовисто, до искры, гребанул Колёка жарким копытом асфальт и, коротко присев, с места взял в карьер.

Не сделал он и пяти прыжков, как ржавая проволока, натянутая до предела и покрытая расхристанным по ней сушившимся купальником с огромными красными окаменелыми чашками, заехала ему в рот.

Повиновался Колёка силе ржавой проволоки, отступился назад.

Огляделся.

Нет, не сбежать с площадки с маленькой прекрасной наездницей по каменным двум ступеням-глыбам. Слишком высоки, ненадёжны.

Как-то жалко, раздавленно обходит Колёка глазами двор и, собственно, впервые видит его во всей полной обстоятель-

ности.

Двор вроде как двор.

С улицыходишь, точно по тоннелю. Сквознячок в спину игриво поталкивает.

Слева почта.

Справа высоченный бок дома. Нештукатуренный. Рёбра кирпичей, вымытые, вытертые долгими годами, глазасто выпирают, как сильно выпирают ребра у худых, у измученных болезнью людей.

Над почтой ещё два этажа, обвитые со двора вплотную резным балконом. Там какой-то отдел цен.

Из-под старой деревянной лестницы, засыпанной прошлогодними листьями, растёт незнакомое могучее южное дерево. Зелёным крылом летяще наклонилось над всем двором, будто и кланяется ему, и оберегает от чего-то.

В глубине тени дерева, к хвосту дома – выходил лицом на улицу, – неуверенно пристёгнуты в ряд под одну крышу пятток утлых квартир-распашонок. Пристраивали, ясно, на время. Да что ж найти на свете вечней временки?

Бок к ней жмутся посреди двора тоже под одной синей крышей пять кухонек.

В затылок кухням смотрят сараи, смотрят тоже из-под одной крыши. Смотрят гордовато, надменно, поскольку сараи выше кухонь. Вся штука в том, что всё это наклеплено на склоне, и сараи, откинутаые на зады, стоят, естественно, уже на схваченной асфальтом площадке, покоящейся на бетон-

ных столбах, с горячих глаз вкопанных, пожалуй, далеко не на должную глубину.

Этот подвох, кажется, чувствует двор, и от сараев к кухням нанизал в укрепцелях бечёвки, проволоки, круглые сутки на которых сушатся внатык разнокалиберные купальные доспехи, – слетелись, сюда погреться со всех широт от Балтийска до мыса Дежнева.

Нет, не сойти с вцепчивой наездницей с площадки.

Поскакав на месте, ударил зноистый Колёка во весь мах вдоль проволоки, ловя на руки, на щёки чиркающие жёлтые слёзы её ржави.

Хорошо на печи пахать, да круто заворачивать. Сделал три прыжка – стреха кухни упирается в колени. Назад, к сараю, не длинней путь.

Как кукушка в гнезде, мечется лохмач от сарая к кухне, от кухни к сараю, всё входит во вкус, шалея и сознавая, что у него, у коника, экая красавица визжит от восторга на закорках.

Вдруг откуда-то снизу донеслось собачье ворчание.

Колёка остановился.

Надставил ухо.

Откуда взяться собаке? Где она?

Старческое брюзжание шло от стены кухни, где три шиферных листа нависали дальше, чем все остальные. Под листами стояла кровать, огороженная простынями.

Колёка подошёл ближе, и тут из-под края простыни уста-

лый голос собаки зазвенел рассерженным звоночком.

– Собачка! Ты чего ругаисси? – спросила Алёнка.

– Ну как не ругаться, ежели вы не понимаете простого вежливого слова! – укоризненно прошепелявил пёс Топа. – Ну чего совать нос, куда тебя не звали?

– Собачка разговаривает!.. Собачка разговаривает!!.. – сумасшедше затараторила Алёнка на весь двор.

– Эка невидаль, – скучно сказал Топа. – Ты ещё брызни на улицу. Там тебя не слышали.

Алёнка всерьёз приняла подсказку Топы.

Ветром слетела с Колёкиных плеч. Увееялась за почту, захлёбисто крича:

– У нас собачка разговаривает!.. У нас собачка разговаривает!!.. У нас собачка разговаривает!!!..

Ей не верили.

Люди учтиво обминали её, как вода камень.

Послушал Колёка, как затухал, удалялся голосок, надрыв-  
ный, набухший от обиды, недоумения, и медово хохотнул.  
Притаённо спросил Топу:

– Ты как относишься к женскому вопросу?

– Разно... – уклончиво ответил Топа.

– Не понял, старина.

– Дело сугубо личное... Как-то трепать мужчинам не при-  
стало...

Совестясь, Топа опустил мордочку на лапы.

– У! Какой ты цивилизный нудяга! Под валенка шаешь?..  
Небось, весь в разврате погряз? А? Ско-око было у тебя ма-  
дамей? Десяток? Два? Три?

– Совсем за беспутника держишь...

– А чё ты из себя целину строишь? Небось, выскочишь на  
Чехова, душа поет?! Скок там с хозяевами, скок так, без хо-  
зяев, носится-гуляет всяких сучонок?! Ти... Знай шьют хво-  
стами... И отечественные, и импортные... Импортняжку в  
деле знавал? Не обмахивайся хвостинкой, развраткин! Ответ  
точный подавай сюда!

– Знавал... Грешен... Парижаночка... За что и понёс на-  
казание... – поувял Топа и показал лапой на верхнюю че-  
люсть козырёчком нависала. – Зуб на зуб после того не при-  
ходит.



– Э-э-э! Шалунелла! А я царапаю бедну голову, всё гадаю, а чего это Топа шепелявит, как старичина. А оно вона вынь-подай что! Пострадамши за любовь! Шерше ля фам!

– Пострадал... – потупился Топа.

Топа решил, что Колёка всё равно вырвет клещами признание. Начал без охоты рассказывать:

– Толкуй, кто откуль, а мы все здешние... У нас в Ялте как? Как везде... На какую глаз положил, та и твоя... Неотразимый Топа... Ну... Наши кобельки липнут к заезжим сучонкам. А наши ялтински дамультки вечно в трансе... В трауре Мы за своим бежим-с к «Ореанде», к «Массандре», к «Ялте». Это гостиницы... Ждём-с, как пойдут на фланёж импортные. И наши сучонки ждут. Авось, и ими возгорится какой залётный инвалид-старикашулечка. Да редкий импортник кинет худую косточку и писец... Тоскливый пост...

Я одну у «Ореанды» присмотрел. Ладненькая такая... Беленькая. Чистёха. Вышак!.. Прогуливала своих хозяев, сама сидючи у тощей, некормлёной хозяйки на руках. О как!

А надо сказать, мою вертихвостку из десятку не выбросишь. Бела как сметана... Так бы и съел... Хороша-а... Хорроша-а... Чего уж там... Есть на что из-под лапки посмотреть...<sup>10</sup> е-есть... Обрадовался я ей, как блину в сметане...

До сих пор удивляюсь... Меня тогда подивило – у неё на лапках тряпичные цветные калошики. Чтоб не пожгла свои ходульки на ялтинском асфальте.

---

<sup>10</sup> Из-под ручки посмотреть – очень красивая.

Допёр я это и меня взбесило.

Я всю жизнь бегаю босиком и ничего. А то на! С парохода заявила в калошах!

Со злым достоинством позвал я её.

а она своих хозяев в своём капризе, видать, держит. Что захочет, то и вьёт. Верёвки из них вьёт. Они ей всё позволяют.

Ну, позвал я. Она безразговорочно и заверти, заиграй хвостом. Мол, пустите скорей!

А видок у меня не импортный. Весь я, замурыш, ободраный, грязный. Век нестиранный.

Они ей учительно говорят:

«Мы тебя, Жанетточка, пускаем. Видит Бог, верим твоему благоразумию. Будь осторожна. Ты у нас девочка! Не забывай! Не будь пустошкой!»

Стало мне тошнѐхонько.

Кого-то на руках по Парижам носят. А тут одни пинки не успеваешь подбирать. Ну, думаю, отыграюсь я на парижаночке.

Ласками-нежностями завлекаю к себе в сарайку, что вам сдали, – все собаки сильны у себя во дворе, – а парижане вдогонку чешут фокстротом. Упрели. Отстали. Нас не видно – прихватили след и уже по следу по нашему жгут в поте. В перепуге. Куда затартает? В какую темь? Что утворит? Что скуражит?

Е-есть над чем покумекать...

Ну, подвёл я свою парижаночку к своей обтёрханной двери, носом тырк в дощечку. Дощечка в двери была на маленьких петлях. Закрывала лаз. Всё Мельничиха сделала, как я просил. Ну, дощечка приподнялась. Под неё в лаз беспрепятственно галантно пропускаю первой даму. Следом и сам.

А хозяйева и останься с носом на улице.

На коленях зовут свою Жанеточку образумиться, пока не поздно ещё. Христом-Богом умоляют покинуть занюханного ухажёрника. Меня!

Да куда! Я своего не теряю. Знай тыдык-тыдык! Тыдык-тыдык!..

– Извините! Я уходом от вас ушла!<sup>11</sup> – моими словами отвечает за дверь, на волю, моя сладкая алюрка.

Моя парижаночка от счастья взлаивает... Вишь, как расхорошохонько-то ей стало, как я из неё девочку-то вынул. Тонну горя с плеч!

Ну, наголубились мы вдостале, наигрались до дуру. Пора и по хатам.

Можно б было, как делают все кобели. Пихнул завлекалочку по заднюшке в лаз, а сам дома барином валяйся. В безопасности.

А я не мог не проводить её до «Ореанды».

Ночь. А ну какой псих прилипнет. И хозяйева её в слезах увяялись как назло.

Понятно, я следом на воляшку за парижаночкой за своей.

---

<sup>11</sup> Уходом уходить – выходить замуж без согласия родителей.

А хозяева-хваты тут как тут. Притаились за углом...

Поймал Топа молнию...

Гмг... Коли быть собаке битой, найдётся и палка. А меня и без палки... Не огляделся, с порохом на спине полез в огонь...

Сам меня о-оп, о-оп лаковой острой туплей по мордасам, по мордасам.

Кажется, мои зубки горохом просыпались по асфальту...

Поймавши пенделя, я сразу отключился, потерял сознание. И больно не было...

Жанетка похлопала меня по щеке...

Еле вернулся в себя...

Ощупываю свои мордашки... Челюсть съехала на сторону. Зубы с неё осыпались... Пробую на место поставить челюсть. Так не ставится. Хоть что ты тут! Челюсть на челюсть не находит. Крепе-енько подломил меня бзиканутый мусьё...

Не знаю, что б я и делал, не окажись моя парижаночка порядочной. Приструнила своих господ-хулиганов. Нагнала холоду и велела срочно везти меня в больницу.

Сам уработал, сам и понёс на своих волосатых грабельках в собачью беззубую больницу.

Беззубый ветеринар кое-как вправил... Да неудачно. Челюсть всё же выпирает вбок. Висит козырьком... Шавкаю... Есть толком не могу. Дадут мосол – хоть ешь, хоть гложи, хоть вперёд положи. Я всё вперёд кладу... Помню, Жанетка

мне три цыплёнка-гриль принесла на второй день после разбоища. Такие поджаренные до розовости, с лучком. Ароматина-а-а-а!.. Я вообще не мог поначалке есть. Кое-как отщипывал по ниточке...

И Топа, и Колёка облизнулись.

– Чем-то кончилось? – спросил Колёка.

– Э-э... В сам Париж калачами заманивала!!! Да чего ей было копать колодец там, где нет воды?.. Своё хулиганье прищучила. Согласились взять в должности мужа Жанеткинова. Обещали рай-житьё. На пятом этаже мне с Жанеткой выделили непроходную, отдельную от них, луковых хозяев, комнату с видом на Эйфелеву башню. Отдельный тёплый унитазишко. Не работать... Лишь по вечерам прогуливать с Жанеткой этих хозяев поблизях. У Эйфелевой башни. Ещё в Бургондском лесу... Ещё по Сене... Речка у них там такая... Да не поехал я. Да ну его, Париж! Там моря нету. Мельничихи нету. И сторона там чужущая... А на чужбине и ворчя<sup>12</sup> тоскует... В жизни уж так. Каждый цветок на своём стебле распускается...

– Ну, друже, заверну тебе от души. Глупи ты наворочал полный мешок! Уж куда-куда, а в Парижок не грех бы закатиться таким бегемотом. Я б не думая махнул!

– Так то не думая! А подумавши – взвоешь!

– О! Вас выть не учи. Вольно вашему брату и на владыку лаять... Да что владыка... Вот, – подживился Колёка, – но-

---

<sup>12</sup> **Ворчя** – собака.

чью воешь на луну. Нравится?

– Что ж тут может нравиться? А потом, чего выть-то на луну? Чего вывоешь? Это где в Голопуповке какая глупая левретка иль там криволапка и завоет с тоски. А мы, городские, кручёные-учёные, не воем. Таковую глупь не практикуем... Ну чего людям мешать спать?

– А самому спать охота? По-честному?

– Живое... Как не охота? Но служба. На службе не поспишь... Так, когда особо круто сон скрутит, налегке придремнёшь. А штоб бессовестно, навсхрап, до полной потери бдительности – не моги! Один глаз спит, сон ворует. А другой службу правит. На мне ж такая ответственность! Уйди на боковину, а всё это, – Топа показал лапой на двор, плотно увешанный плавками, лифчиками, халатами, простынями, – а всё это какой лиходеецкий бомбила<sup>13</sup> и умкни. Тогда лучше не просыпайся иль забегай со двора. До смертушки ж умолотят! В асфальт закатают!

– Весёленькая у тебя работёшка, сторожок! Не припылишься... Можешь и соснуть накоротке, и служба не станет.

– Позавидовал богач новой сумке нищего... Чует моё собачье сердце, не вник ты, головушка кудрявая, в соль... У наш же служба вечная-бесконечная. Болтуха!<sup>14</sup> Двадцать четыре часа в сутки! Без выходных! Без отгулов за прогулы! Без отпускных! Без больничных! Хоть и больной, а о здоро-

---

<sup>13</sup> **Бомбила** – бродяга.

<sup>14</sup> **Болтуха** – караульщик.

вье твоём ни одна собака не справится. С тебя спрос один. Стереги!

– Да-а... Пресно жуёшь. Сплошняком обязанности. А прав и на понюх не подают... Ти... Ну, всё ж какие-никакие отдушины бывают?

– Летом как от работы отпрыгнуть? Зимой проще... Курортники разъедутся... А что свои выкинут просушить, так целый лимонард<sup>15</sup> давай, штоб взяли, – не возьмут! А летом непроворотно, непродышно. Мало, штоб чужой кто не бомбанул. Тут и наши наезжие могут перепутать. Вешал одно. По рассеянности цапнул другое... Вот я за всем и смотри. Они со всей державы скопились-слетелись. А я упомни, что у каждого. Вешает – смотрю. Запоминаю. Собачье моё дело маленькое. Запоминай! Запоминаю. Снимает. Опять смотрю. Своё ли? Ежли не своё, я ему лапой показываю на его тряпицу. Совестно, с извинениями вешает чужое, хо-оп своё и бегом. Большь глаз мне не кажет.

– Всё работа да работа. А друзья-то есть?

– А как без друзей? Без друзей нельзя. У меня друзьяки во всех ближних дворах. Если гулеванистая Мельничиха не тащит еды иль вообще усвистала куда на выходной в Севастополь иль в Новый Свет на бэбэ, на большое блудилище целинниц, не примирать же с голоду...

– Стоп! Стоп! Расскажи про это бэбэ... Про это советто

---

<sup>15</sup> Лимонард – миллиард.

эбалетто шик...<sup>16</sup>

– А что рассказывать? Кто про этот мундиаль<sup>17</sup> не слышал? Слетаются гулевашки наподобие Мельничихи. Съезд разведённых и замужних девственниц! Съезд целинок! И председательствовать, говорят, на нём в этом году будет древняя метёлка из самой Малайзии Вук Кундор. Этой клемме всего-то 107 годочков. Две весны назад выскочила замуж за малахая. Моложе на 70 лет! Цырва заподозрила, что он у неё наркуша, и ушла от него. Вот в двадцать третий раз собралась двустволка замуж! И за кого? Эта замороженная янгица поёт: «Необязательно, чтобы этот человек был красивым, как наш премьер-министр, но всё же...» В сто семь подавай ей премьера!.. Ох и дурют вашего брата эти кларки целкин! Прoшлым летом обсуждали проблему вечной девственности у замужних женщин. Потому как мужья очень любят, чтоб их гражданки жёнки-пшонки каждый вечер были первочками на протяжении всей совместной жизни.

– Да может ли такое быть?

– Ещё ка-ак может! Если братаны китаёзики помогут.

– То есть?

– А! Да ты не в курсах, что эти чимчигрызы поставили на промышленный поток производство девственных плев. Отдай какая многостаночница тридцать зелёных, и она снова – целинка! Витаминчик Ц!!

---

<sup>16</sup> Советто эбалетто шик – девочки из кордебалета.

<sup>17</sup> Мундиаль – чемпионат мира по футболу.



– Фуфляк! Не верю...

– Тогда читай сам. – Топа показал взглядом на листок у плитуса. – Это крикламка. Один матросик в порту обронил. А я и подбери...

«Изделие, – читал Колёка рекламку, – представляет собой небольшой пакет, наполненный похожей на кровь жидкостью. Женщина может вставить его перед влагалищем, и при соприкосновении с мужским половым членом пакет разорвётся. Добавьте пару криков и вздохов, и вы сдадите экзамен на «отлично». Это позволит женщине имитировать процесс дефлорации (лишение девственности)».

– Целки напрокат! Нефига себе! Какой процессяра пошёл! – хмыкнул Колёка. – И тут как же надувают нас бабёшки с этой дефлорацией!.. Вот накупи моя агу Капуля тыщу пакетиков, и она три года каждую ночь будет мне запускать радостные муки расставания с девственностью? Меня такая наковка не греет... Ну их!.. Я прервал тебя... Лучше доскажи, как ты тут с едой выкручивался, когда Мельничиха отбывала на эти бэбэ?

– Как выкручивался? По-разному... На худой конец у друзей всегда про запас отыщется и завалящая, уже частенько вонькая косточка, и бросовый, с помойки, кусок булки. Забегают кто посвободней на минутку и ко мне. Посидим кружком у входа. Посплетничаем. Обмоем все собачьи новости. Для разминочки малешко побалуемся. Поразомнём суставчики да и разбегаемся по дворам проверить, не покрали ли

наших хозяев... Зимой у нас посиделки дольшей. В моей келье, что вам отдружили за громкую монету, сходятся все наши бездомники. Лаз впускает всякого. В день, в ночь впускает обогреться. Один только холод старается не пускать... У меня з́авсе тёплышко... И к теплу всякому сердяге молчану худо-бедно, а тоненький найдётся мосолишко...

– Хип-хоп, вашей жизнёхе не воззавидуешь... Давай про что весёленькое... Вот состоите вы в охране. Но какой же сторож без ружья? Почему вам ружья не дают?

– Экономят... Моё ружьё мой голос. Я звонарь. Чужой во дворе – я звоню. Прозвонил...

– ... а там хоть не рассветай? – подпустил шпильку Колёка.

– Я рассвету не указ. Моё первейшее дело прокукарекать. А дать команду рассветать или не рассветать – Мельничихина печаль. И потом, разгоришься благовестить, варяг тут же ноги в руки и назад. У меня пока ни одной накладки-пропажи не было... Но хоть одну самую распустящую медалечку мне кто нацепил на шею за моё рвение?..

## 8

Так они болтали о том о сём и не заметили, как вернулись бабка с Алёнкой.

– Иду из «Молока», а она навстречку беге и оре: у нас собачья разговаривая, у нас собачья разговаривая, у нас собачья разговаривая! Эка невидаль!

На эти бабкины слова Мельничиха только улыбнулась. Ничего не сказала.

Алёнка незаметно подкралась на пальчиках к Колёке – сидел напротив Топы на маленьком стульчике, – повисла у него на шее.

– А, привет, Красная Шапуля, – уныло пробубнил Колёка и зажалел, что разговор с Топой придётся отложить.

Уловила девочка, что ей не рады, отлилась от Колёки.

Уже в новый миг зажмурила от удовольствия глазёнки и живо подползает на четвереньках к Топе. Залилась кипящим лаем:

– Ав! Ав!! Ав!!!..

– Неразумная, кончай выёгиваться, – тоскливо буркнул Топа и, ужимаясь в подкроватную глубь, отвернулся к кухонной стенке.

– Бобичек! Не обижайся. Не убегай... Отгадай загадку... Четыре четвёрки, две растопырки, седьмой вертун, а сам ворчун. Чего будет?

– О Господи! – грустно отозвался Топа. – Ты ещё спроси... Четверо стелют, двое светят, а один лежит, никого не пустит. Или... Собой не птица, петь не поёт, кто к хозяину идёт, она знать даёт. Ну какая собака это не отгадает?

– Бобичек! Какой ты скушный! – выговорила Топе Алёнка и вбежала в сарайку.

Бабка налила в стакан молока.

– Пей! – подала Алёнке. – А потом и дядь Коле налью. Нам всем доразу есть нельзя. На троих даден один стакан и одна чайная ложка. Больша ани граммочки.

Выпила Алёнка. Спросила:

– Бабичка, а наша кашка ещё не сваретая?

– Да и что ж я тебе в кулаке её сварю? Счас пойдём в поход по столовкам. Где напанем на кашку, тама и нашая...

– Не хочу в столовках. Не хочу! Не хочу!.. Айдашки варить нашую. Наша кашка вку-у-сняшка...

Колёка залпом осушает стакан и заискивающе, должником смотрит, как Алёнка усердно обводит в тетрадке красным карандашом копейку.

– У! Какая ты, Алёнушка, богатая невеста! – вымученно, внатяжку проговорил Колёка. – У тебя целая копейка!

– А у меня их много-много!

– Ти, береги! Без копейки рубль не живёт.

– Папка дарил Юльке старые копеюшки. Юлька выбрасывала старые копеечки. А я собирала.

– Умничка! Ты на правильном пути. Продолжай активные

сборы... Конечно, мы не копейничаем. Однако... Как говаривали встарь, и царь за копейкой наклонится, а за рваненьким так на колени станет... У толкового хозяина всякая копейка рублёвым гвоздём прибита!

– Я просила папку, – тоненько выпевала Алёнка себе хвалу, – купи, ну купи-и мне копилочку... Котика со щёлочкой для копеюшек на спине... Жадобный... Не купил... Я сбирала денюшки в сумочку. Сумочка уже чижо-олая...

– Что же ты, миллиониха, будешь с ними делать?

– Как вырасту, буду ходить с ними в магазин. Буду покупать, что мамка скажет.

С этими словами Алёнка взобралась на койку. Начала скакать.

Три раза добросовестно подпрыгнула.

Ровно три раза бухнулась одним и тем же местом, темечком, в низкий потолок, отчего одна и та же шишка за минуту три раза подрастала.

– Подь ты вся! Надоела! – кричит бабка. – Не прыгай! А то все мозги разлетятся. Ещё дурей станешь!.. Ну юла! Ну мыкачка!

– Я ласточка, – уточняет Алёнка. – А не юла.

Бабка выбежала во двор к колонке сполоснуть бутылку из-под молока.

Колёка назидательно говорит Алёнке:

– Сиди тихо. А то собачка, – в открытую дверь показывает на Топу под кроватью, – выгонит.

– Не выгонит. Это не евойный домик.

– Уж чейный домик это, так только его.

– Ты в этом собачкином домичке останешься. А мы уйдём жить в людяной дом...

Бабка возвращается с вымытой бутылкой.

– Ну, детьё, перехватили? Своей ходкой дойдёте до столовки? Айдайте, айдайте в столовку. А там и в обдираловку.

– Куда? – не понял Колёка.

– В платную полуклинику.

– Ти... Я там ничего, слава Богу, не потерял, – сказал Колёка.

– У-у... Врачун гляня – кузов хворей в каждом найде!

– Но у меня ничего не болит.

– Я слыхала, как ты кашлял. Так бронхитики кашляют. У меня тожа был бронхит. Тепере ухватила чин потолще... Нянкаюсь с астмой. У прошлом годе была там у помощника смерти... А по науке он называется врач... Фамильность какая-т с подпёком... Мимо рта мечется... Не вспомню...

– Тимченко Фридрих Гриюдетевич, – подсказал из-под кровати Топа, не поворачиваясь.

– Во! Во! Тимченка... Всего рупь стоя. Всё зная и задёшево. Рупь!

## 9

– Юркие какие! – выговорили им в справочной поликлиники. – За жалкий рупий хотите вылечиться у самого у Тимченки?.. Да за приём к Тимченке надо уже полтора! Цены у нас не спят.

Подумала бабка, слегка огорчилась.

– Чего эт он, расстрели тебя горой, подорожал? Иль в этот год где подучилси?

– Не-е... Наверно, просто защитился, – предположил Колёка. – И стал камнем... Ну да! Во-он в списке против Тимченки стоит *к.м.н.* Извольте. Кандидат медицинских наук!

– Э-э! – кисло протянула бабка. – Я думала, он всё зная, а он, сказывается, только ишшо кандидат в полные знатоки. Сам кандидат, а дяре за всего знатока!

У Колёки отвалило от души.

Может, хоть подскочившая цена на Тимченку отшибёт у неё страсть тащить его, Колёку, к врачу?

Но она повздыхала, повздыхала и выписала два, себе и Колёке, направления и упругой рысцой заколыхалась по скверу к будочке напротив. К кассе.

– Ну, зачем вы и за меня платите? – растерянно нудил Колёка и дёргал за локоть бабку, получала сдачу. – Я не пойду. Мне не с чем идти... Жуть голубая!.. Ну зачем вы платите?!

– А можь, мне хотса за тебя подплатить?! – с томно-иг-

ривым вызовом подпустила бабка. – Дажно Алёна... Все жа лечатся! А ты что, расстрели тебя лихой, рыжий? Подлечись со всема за компанию!

А Колёку поджигало плюнуть на всё и сбежать.

Да куда?

С какими глазами вечером всовываться под одну и ту же крышу?

И потом, Колёка в этом себе сознавался, не мог он уже уйти от бабки с внучкой. Во всём городе больше ни одной знакомой души. А он присох к ним. Приварился. Дома им заправляла жёнка. Он привык, чтоб им кто-то правил. А так, один, сам он совсем ничего не мог.

– Ты, Колюшка, главное, не теряйся! – вела на путь бабка, пряча в сумку кошель. – Я взойду первая. Ты за мноюшкой... Пряма так... Ты этого бармалея в бледном чепчике не стесняйся! Что тебе с ним, его больных тараканов крестить!? Пряма тако ядрёно с порога и наполаскивай... Нож к горлянке и за своё. Выписывай, милай, пенку! Выписывай, голубанюшка, сюда госпожу ингаляцию! Особь дави на кислородну ванну. Кислородну ванну кому здря не выпиша. На них очередь знашь какие? Ты просто ишшо не знашь... В водолечебку зайдёшь – одни чёрненькие! Черно кругома! А чёрненькие задарма рублёмки не кидают. Во-она у кого всяка копеюшка аршинной сотнягой приколочена! А ты говоришь, зачем я платю... Вода боль найдёт. Сама и отлечит. Во-от что кислородная творит ванна!



Колёка проклинал ту минуту, когда подлетел в вагоне помочь вынести бабке вещи – загнанная в тупик мышь и кошку кусает! Клял себя за свою глупую сердобольность. Ненавидел себя. Ненавидел бабуку. Ненавидел уже и Тимченку, поскольку, не будь Тимченки, может, его б и не потащила сюда эта десятипудовая слякотная коровя.

Тимченко Колёке не понравился.

Лет шестидесяти. В холе. Раскормленный. С вьющимися волосами. С выдающимся специфическим носом. Горный орёлик! Только который не летает, а на лету хватает.

Тимченко был весело настроен.

Длинно-раздлинно лалакал про свою учёбишку в Москве. В институте уха, горла, носа. Тренькал что-то ещё...

Дёргал носом Колёка. Пробовал не слушать его.

– С вас скульптуру Шевченки ещё не лепили? – пытал Тимченко.

– Пока нет.

– А ка-ак похожи! Ка-ак похожи! Божественно!.. Только вы покрупней, помощней... потушистей. Вы откуда?

Колёку не манило называть на смех свою Скупую Потудань.

С ересливым наскоком брякнул первое, что свалилось на язык:

– Столичанин я!

– Случаем, пёрышком не балуетесь? Не сочинительству-

ете?

– У нас все варианты возможны...

– Ов-ва! Тот-то, думаю, что это мне ваше лицо знакоменькое. И фамилия... Вы... покорно простите... из литфонда?

Колёка слыхом не слыхал про эту шарагу.

Застыдился своего вранья, растерянно и подтвердительно кивнул:

– П-почти... Но я сам по себе... Давайте к теме... У меня одно ухо с год звенит. Тонко, как комар смеётся...

Тимченко потерял интерес к Колёке.

Поскучнел и отвернулся.

Колёку он совершенно не расслышал. Но раз тот жаловался, сделал вид: я вас понял, сразу кидаюсь в дело! И с горячей важностью притворяшка принялся за то, что могло означать прослушивание.

Блёсткой кружалочкой в один миг ткнул на спине места в три. Но при этом даже не вставил себе в уши трубочки от этой блестяшки.

Резво выписал пенку, ингаляцию.

Потёр-пошуршал своими бумажками, протягивая их Колёке:

– Согласны, что у вас пан фарингит?

– Бабка сказала – бронхит.

– Ладно! – подвеселел Тимченко. – Меняю свой фарингит на бабкин бронхит.

И в направлении на ингаляцию вымахнул фарингит, свер-

ху размашисто вписал бронхит.

– Нет! – залюбовался он своим творением, вслух подумал: – Лучше к моему фарингиту добавим бабкин бронхит.

И по чистому краю листка притулил:

«*Фарингит + бронхит*».

Уже за дверью глянул Колёка в бумажки. Нету ванны!

Крутнулся назад.

– Доктор, забыл сказать... Мне нужны кислородные ванны.

– Отётё... Рассеянный. Все рассеянные великие... Наверное, вы какой-то секретарь?

– Да. Секретарёк у своей секретарши...

Тимченко вежливо улыбнулся, как он считал, тонкой шутке и уморённо навалился строгать на клочке со штампиком поликлиники.

### *В ВОДОЛЕЧЕБНИЦУ*

*Б-й Самаделов Н.П., 25 л. Д-з: неврастения. АД 115/80.*

*Кислородные ванны. 36° С, 10, № 10 к.д. Кожен. б-ней нет.*

Колёка ни шиша не понимал в этой словесной каше.

Ну что значит б-й? А д-з? А к.д.? А б-ней?

За дверью бабка выхватила у парня этот листок. Перевела:

– Кислородные ванны, чудилка! Температура тридцать шесть градусов. Не сварисси... Десять ванн. По одной штуке кажинный день. Кожных болезней нетути. А д-з – диагноз.

Неврастеник! Расстрели твои мяса, нутрии, неслух! Неврастеник ты!!!

– От тупень! От бабуин! Он же меня и в лицо толком не видел. Ни про что не спрашивал... Откуда он выгреб, что я неврастеник?

– Вишь! А ты пел, ни граммки не болит. Боли-ит... Ишшо ка-ак боли-ит... Он жа в направлении первое слово поставил *больной*. Сократить ежель – *б-й*... Так что, товаришок больной, держись да лечись... И вот, – заглянула в другую бумажку, – и вот на горизонте выскоч субатрофический тебе фарингит... И бронхит мой вот увесь подтвердился... Э-э, лечись, лечись! Не запускай... Здоровья одно! А болезней тучи! Береги здоровью! Лечись!..

Минут через пять Колёка уже лечился.

Давился кислородной пенкой.

Гаже Колёка ничего не едал.

В вишнёвую пластмассовую миску из краника надавливают шапку белой пенки. Тебе надо как можно быстрее съесть. Иначе все тайные ценности, не видимые и, поди, вооружённым глазом, разбегутся.

Кривился Колёка, но ел. Ел трудно, с отвращением за чем-то тщательно прожёвывал пенку.

Первой отстрелялась Алёнка и теперь подзуживала над бабкой с Колёкой – жевали стоя за высокими столиками:

– Пережёвывайте долгей! А то пенкой подавитесь. Жуйте хорошо-нахорошо! Не бойтесь, зубки не поломаете... А я

сиропчик с пенкой уже выпила...

Навспех, захлёбисто наворачивали пенку и в самой разда- точной, стоя за столиками, сидя на вытертых диванах у стен. Набивали в оба конца и во дворе, под деревьями на лавках.

Ели дети. Ело старичьё.

Всё ело. Всё задыхалось этой проклятущей пенкой!

Такое впечатление, что эти гореносцы лет по пять вообще ничего не ели, и вот им дали пенку.

Сняли они с полок свои бивни и ну охминать на обе щеки.

Проходивший мимо мужчина осуждающе плеснул рука- ми:

– Вот остолопики! Да что ж вы ею давитесь?! В той пен- ке кислорода, как золота у нищего в суме! Она вмиг вся вы- дышается, и вы намахиваете один яичный белок. И больше ничеготушки! Да за трёх гриш<sup>18</sup> вы ж купите пя-ять яиц с желтком и белком! А так вы ухлёбываете сиропишко и белок всего-то лишь одного яйца!

Насуровленная бабка гневно кинула глаз на басурманина. Она захлёбывалась тающей пенкой и не вязалась в переко- ры. Только зверовато сверкнула горящими лупалками:

«Вот дохлопаю вскорую пенку, я те ух выпою!»

– Дуренькие! – удаляясь, ласково-укоризненно выкрик- нул каверзник. – Идите за кислородом на море! Плаваючи, вы хватаете своими бронхами кислород, кислородную пен- ку непосредственно с морской глади. А тут вам перепадают

---

<sup>18</sup> Гриша (гривенник) – 10 копеек.

лишь жиденские бульбашки!

Баба яростно проглотила последнюю ложку.

Так же яростно погрозила подкопнику пустой чашкой.

– Ты чё, кислый петушака, распелси?! Чё без ума несёшь пургу? Облопалси пенки?.. В прошлом же годе со мной за одной стойкой нараскорячку, стоя, как хреновской жеребец, трескал эту самую пеночку! А тепере всякие гнилые непотребствия вяжешь?!

– Вяжу! Потому как допёр, что за здоровьем надо топать на морюшко. А не давиться этим глупым пшиком.

– Ступай, пустобрешливой! Ступа-ай, кудрявич, – мужчина был лыс, – и не смущай, раздолбайка, дорогой трудовой народ диковинной хренью.

Обязательно надо после пенки высидеть полчаса.

Только потом можно идти на ингаляцию.

Ждать – каторга.

Солнце. Тёплышко.

Поскорее бы отбарабаниться от этих дурацких процедур и на море, А ты пре́й в компании бабки с внучкой. Жди. Чего жди?

Нетерпение подкусывает Колёку.

Лопнула терпячка и у Алёнки. Она то и дело ловит бабку за палец, тянет с лавочки к ингаляториию.

Бабка упирается толстой коровой, что на верёвке тащат на базар.

Наконец – время!

Алёнка первой влетает в ингаляторий. Захватывает бабке стул у свободного аппарата.

Не глянулось Колёке дышать подогретой морской водой и настойкой календулы.

Но когда перешли в другую комнату на косточковое масло, он несколько повеселел.

В пару сипели едва различимые аппараты. Едва угадываемы у них и страдалики – сидели и дышали в трубочки.

Пар... сипение... Как в кочегарке какой.

Ему занимательней было здесь.

Маслом дышат меньше.

Народу пустовато. Никто из медсестер не смотрит. Свободы через край! Хоть дыши, хоть не дыши. А хоть дыши всеми маслами. Всеми взаподряд!

Бабка так и делает.

Отдышала свои пяток минут по песочным часам – от косточкового масла перебегает пугливой сытой мышкой к абрикосовому.

К шалфейному.

Ещё к какому-то.

Ещё к какому-то...

Следом за ней ко всем аппаратам подлипает и Алёнка.

Колёка вывалил на них растарашенные гляделки.

– Ума не дам... Ты чё впрохладь сидишь пенёчком на одном месте? Примёрз? – подпекает вшёпот бабка. – Давай дыши со всеха! На хаявку чё не дышать? По бумажке, эта дышалка стоит копеюхи на раз. А мы, стахановцы, в каждую забежку сюда надышим ого-го на скоко рублевичей!.. За Алёну и копыя не плачено. Ей эта леченья нужна, как зайцу зеркальце. А ты поглянь, как старается, на бабку гляючи... Давай-но безразговорочно дыши!.. Что за подсмешки... Иля ты тряхнулся мозгой?

– Да можно только пять минут! Вы ж потравитесь!

Бабка морщится:

– Э!.. Трещишь, как старая телега! А послушать нечего...



Никого ж не отправили к верхним людям!<sup>19</sup> Пока ишло ни одного отравленника отсюдушки не вынесли! И своей ходкой ни один не ушёл отседова на вечную жизнь...

– Ти... Будешь зариться на дармовщинку – лоб польсует... – бормочет Колёка.

Бабка кладёт тёплый мягкий ковшик ладони Алёнке на голову.

– Нам это не угроза... Давай, внуча, дыши и за дядь Колю... Будем с тобой и за дядю дышать, раз он моей умности не ухватывая...

Бабка с внучкой уже чумеют.

Зелено в глазах. Голову подкруживает.

Понимает бабка, надо кончать. И она со вселенским сожалением вышатывается из плотного пара.

Подъехало на троечке милое времечко. После ингаляции нельзя час говорить!

Битый час они молча выждали на скамейке и поплелись, как черепахи, в водолечебку на кислородные ванны.

И после ванн обязательно надо отдежурить полчаса в комнате отдыха.

Лавки широкие. На дерматине.

Полумрак. Смирно. Уютно.

Разговаривать нельзя.

Сидели, сидели бабка с внучкой и попадали снопиками в сон. Как в омут.

---

<sup>19</sup> Отправить к верхним людям – убить.

Жуёт Колёка губы, зло пялится на задёрнутое плющом тёмное окно.

За окном, через дорогу, пляж, море.

А ты кисни, как тесто, в этой распаренной полутьме да жди. А чего ждать? Чего?

Уже ближе к вечеру проснулась бабка-царёха.

Куда ж теперь?

На море не сунешься.

Люд уже с пляжа и толпами течёт, и тянется тонкой вожжой.<sup>20</sup>

Наша троица понуро бредёт по набережной в столовую.

Натыкается на берегу на скамейки одна над одной, как на стадионе или как в греческом театре под открытым небом.

Панамкинский народишко важно сидит и дышит морем.

– Давай и мы подышим морем! – Алёнка брызнула к свободному месту.

Бабка колышется следом.

Добежала Алёнка до скамейки. Торопливо села и накрыла ладошками место рядом. Занято, занято! Это бабушке!

Глупым кажется Колёке сиднем сидеть у воды и дышать. Он проходит чуть дальше. Ко входу на пляж. Тоскливо смотрит, как ленивая волна коротко пробежалась по бережку и оставила на песке белые шипящие слюни...

На вздохе Колёка упирается взглядом в стенд:

*Ялта – это город, который борется за звание*

---

<sup>20</sup> Тянуться вожжой – идти друг за другом.

*города высокой культуры, основными лечебными факторами которого являются климат, солнце и море.*

*Пляж – это лечебный кабинет на открытом воздухе. Не загрязняйте его! Не приносите на пляж продукты питания.*

*Не рекомендуется полоскать рот морской водой, мыть фрукты и овощи, т. к. в ней могут быть болезнетворные микробы и яйцеглист.*

«Гм... Как красиво начали и всё скачнули к яйцам глиста...»

Колёка возвращается.

Бабка всполошённо тараторит:

– А я вся выпужалась в смертоньку! Ни пены ни пузыря!..<sup>21</sup> Пропавши наш Колюшок... Что ж теперче будя?

– Ничего не будет, – опало отмахивается Колёка. – Нудь... Наскучило гляделы продавать да пинать воздух. Может, по домам?

– Можно и по домам. Но посля столовки! А то вдома, в нашем чудильнике, еды ни в показ. Нетутки и зёрнышка в глаз бросить.

После столовки уже совсем стемнело.

На набережной не протолкнуться.

– Тыща народу! – обомлело дивится Алёнка.

– Сбродный молебен, – лениво уточняет бабка.

---

<sup>21</sup> Ни пены ни пузыря – бесследно исчез, пропал.

Рядом, тут же на набережной, зазвонисто ударил оркестр. Бабка молодо засветилась:

– Вот, Колюшок, и разбавим твою зелень тоску. Айдайте, молодёжики, на танцы-штанцы! Айдатеньки!

– На танцы! На танцы! – взвизгивает Алёнка, как некогда крикивали чеховские сестрички «В Москву! В Москву!», и неистово тащит бабку с Колёкой на ералашный шум оркестра.

Поглазеть избока Колёка не прочь.

Но бабке мало смотрин. Ей подавай танцы. И она вытаскивает Колёку в круг, дурманно пускается вскачь властно кружить его в вальсе и одновременно, в вальсе, выбивает ещё что-то вроде не то чечётки, не то дробей, не то ещё какой тоскливой чертовщинки.

Колёке не нравится вальс, и особенно такой вальс, а пуще того не нравится бабка в вальсе. Чего она жмётся так, безрогая бизониха? Ни стыда ни совестишки... Народ же вкруговую. Всё видят! С глазами народ! Всё на таком свету!

– Нет... Не могу... – бормочет Колёка. – Ти... Голова кружится...

– Круглячится! – уточняет Алёнка, вертелась-скакала тут же.

Он выдёргивается из цепких потных бабкиных клешней и сходит с круга.

Задавливая неловкость, бабка семенит впригонку.

– Ну, ты чё выпрягся из-под дуги, танцорик? Байстуешь,

шайтанец?.. Иля мои танцы... дробушки мои не к моде?.. Не к ладу?.. А танцориха я всё ж жа-аркая... Эт про меня: хочь и погано баба танцюе, зато довго. Главно, Колюшок, долго... Ну ты чего, плясей, подкис?

Колёка, неспособный отбиться от старушьеи навязки, в мыслях обложил себя незнамо каким этажом, ругает себя безвольцем, мягкошанкерным кисляем.

А вслух как-то виновато плетёт:

– Подустал... С дороги... Ноги спят, руки спят... Давайте по домам. Самый раз обняться с подушкой.

– Я и на это вся горячо согласная. Мы-ть тоже устамши...

Бабке не к душе, что вечер так бестолково смазан. Ну какое ж спаньё, когда ещё, поди, даже мелкосню не укладывали по телевизору?

В сарае, при свете, Алёнка налаживается скакать.

Совестно Колёке, что расстроил бабку, и он разготов вступить за неё.

– Как солдат генерала, так и ты слушай бабушку, – осаживает Алёнку. – А то носишься, носишься. У тебя мотор в хвостике?

– У меня нету хвостика. Есть попка... – Девочка показывает на край своей койки: – А кто тут спит?

– Бабушка.

– А у стеночки?

– Красная Шапочка.

– А на этой койке кто?

– Серый Волк.

Алёнка взвизгивает, прижимаясь к бабушке.

– Бабичка! У нас в домичке будет спать Серый Волк! Ты не боишься?

– Да я сама хучь какого волка вусмерть выпужаю...

Колёка вышел: спокойно укладываются, я пока на дворе поторчу.

Не успел он отыскать на небе ковш, как в сарайке помер свет.

Рубаху парень кинул на «Вегу-180» с горкой пластинок, а штаны на две усилительные колонки, чернели у самой у двери.

«И стереофонический проигрыватель, и колонки наверняка добыты на рублениии таких бездомников, как мы в этой в сараюхе», – подумал он и полез в прохладу под простынку на своей койке за куцей занавеской.

Сетка до страха быстро ухнула куда-то вниз, увлекая и его самого, так что у Колёки обмерли пятки.

Господи! Как же тут спать? Голова, ноги высоко вверху, кардан (заднюха) глубоко внизу, где-то в пропасти... Как в гробнице Тутархамона...

Боже, и впритирку тесный, стопроцентный контакт родных пяток с бабкиными пятками. Закрытое, подпростынное собрание шести ног и тридцати пальцев...

Попробовал Колёка ужать свои пятки, но не смог.

Не повернуться.

На бок, на живот не лечь... Разве что надвое переломиться?

Он затаился. Думал, как же быть.

Легонько-ласково бабка тронула ногой его пятку.

– Колюшка, – подыграла голосом, – девка моя как поднесла ш-шочку к подушке, так тут и сгасла. Спи-ит без задних гач. А ты, парубец, испишь?

– Крепко сплю, бабуль, – буркнул отрывисто.

– Колюшка! У тя язычок ну крапивка... Прямо окатил лёд-водой... Как заagnéшь, как заagnéшь... На добром коне не объехать, семером не обхватить... Ну сказанул!.. Хоть на вешалку мне иди... Е-богу, обижаешь... Я ишло не ско-оро подъеду под старость лет... Ну какая я бабка? Тебе, кудрявик чернобровый, один раз двадцать пять, мне ну два раза по двадцать пять... Так какая я от этого бабка? Я Аня... Ну, Анна Захаровна. Тольке не бабака гангренная... Не-е... Я и нашлась в деревнюшке Девица. Это под Нижнядьявицком в воронежской стороне... Зайцевы мы...

«Вот так компашка... Серый Волк, Заяц, Шапочка-Ке-почка... По японскому календарю нынче год... Кто навеличивает годом кота, кто годом зайца... Заяца! И его подружки Зайчихи! Не в честь ли этого шалеет бабуся?..»

– Колюшка, так ты испишь? И оч кре-е-епко? – игристо протянула бабка.

Колёка не ответил.

Только как-то жалобно и судорожно всхрипнул.

Ужала бабка губы, вздохнула и осторожно перенесла себе на грудь распаренный комочек внучкина кулачка, жарко выброшенного из-под простыни за голову.



Утром, когда Колёка продрал глаза, бабки уже не было.

Алёнка спала поперёк койки.

Дверь враспашку.

Старая тюлевая тряпица каталась на ветерке в дверном просторе. Поглаживала Топку по голове.

– То-оп! Ты чего не баиньки? Старческая бессоница?

– У вас соснёшь на зорьке... ОТС<sup>22</sup> под окном бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу... Твоя распрекрасница варит Алёнке кашу на кухне...

– Ты что, через стенку видишь?

– Ё-моё! Зачем же через?... Э! Да ты ещё не разглядел...

Напротив Капкиной койки, под которой я квартирую, – Топа повёл лапой за себя, показывая на завешанную белыми простынями койку под далеко выступавшими с кухонной крыши тремя шиферными листами, – окно в кухню во всю стену. Это на тот дорогой случай, если будет интересная передача по телику, так чтоб лёжа и ей и мне можно было смотреть. И лежим мы ночью всяк на своей этажности, а в окно телик на кухне подсмариваем один. Так вот, твоя бубука манную мешает кашу на плитке и в мыслях выпевает (мысли её я слышу): «Как лопать без платности в столовке – эт мы.

---

<sup>22</sup> ОТС – одна тётка сказала (разновидность колодезного радио).

Как дышать моей ингаляшкой без платности – это тож мы. Как жрать без платы пенку – опеть мы. Первей нас нету! Как без платности томиться в кислородной в ванне – никто окромя нас!.. А как в отплатность хоть на грошик подать нищенке радости – так, извиняюсь, это не мы, это не к нам. Сразу зоб на сторону... Мы спима! Поддаём храпунца... Козлина вонький!.. В небо убился,<sup>23</sup> а душевной ответственности и с прикалиток нету... Какой-то повреждённый... Ни с чем пирожок... Иль им нечистая водит? С таковским только и трепать хвостом... Чё, распустёха, буровлю?.. Ну чё?.. Совсем гуль-ная коровя пала в убуд... На голых словах... С букушкой разь въехать в грех?..» Друже, насколько я понял, это песенка о тебе. Смотри, ты знаешь, что бывает за растление божьих обдуванчиков? Ох, жизнью ты не учёный... Смотри... Шепчет мне моё ретивое, взрыдывает по тебе доблестный рабфак трудящихся...<sup>24</sup> Смотри... И потом... Ты что ж, и кормишься, и лежишься за бабушкин счёт?

Колёка подрастерялся.

– Вообще-то, получается... да... Ни черта я с нею не поделаю! И в столовке, и в поликлинике... Не успею дотолкаться до кассы, как она обегает меня, слонихой заслоняет меня от кассирки... А сама щебечет, щебечет... На языке как на музыке... И наскоряк платит... Ну, раз ей это нравится, плати. Не имею я права лишать человека сердечного удовольствия.

---

<sup>23</sup> В небо убиться – вырасти очень высоким.

<sup>24</sup> Рабфак трудящихся – тюрьма.

– Однако ты с явными задатками сутенёришки. Не шай под савраску без узды... Неприлично на бабкином горбу ехать в раёк. У неё и так на горбу и её астма, и внучка, и дочка в Магаданике, и дедка в Латной под Воронежем... Надо политично вернуть по-джентльменски всё, что она за тебя заплатила. Правила хорошего тона обязывают.

– Где это записано?

– В уголовном кодексе!

– Может быть, может быть... Но какие ты реверансики ни выкидывай, главное вылезет наружу: деньги, грубые деньги даёшь женщине. Разве это порядочную женщину не оскорбит? Не унизит?

– А ты, авантюристик, отдай так, чтоб не оскорбило. Умный милостыню подаёт, даже его рубашка не узнает... У тебя на отдачу здоровский козырь. Отдаёшь ей её шелестелки! Её же!

– Да это я разочтусь... Меня подивил твой новый выговор. То шепелявил, как труха. А нонь поёшь, как новенький!

– А-а... Не век же быть стареньким. Всё некогда было... А вчера подновился. Не только вам... Вчера вы ударились все в лечение. За компанию я и себе сбегал в свою собачью лкарню. Заменял рухнувший на той неделе мост. Подновился. Выговор теперь, как у телевизионного диктора! А спасибо парижаночке! А низкий поклон её финансикам! Дотаивают... Осталось там, как от пожару травы... Что бы мы, мужики, и делали без дам?

После, покуда Колёка долго мудро сопел в пещерном сортире, покуда умывался у колонки, он тяжело думал, как же вернуть деньгуру. А вернуть надо. Топа прав. Это меня раскрепостит.

И придумал.

Положил купилки в детскую плетёную корзиночку, шумнул Топе и показал на смурую бабку, кормила кашей Алёнку.

– Это вам от вашего соседа по койке, – поднёс Топа бабке корзиночку с зелёной трояшкой.

– Но почему именно деньжанятки?

– Во-первых, это ваши бабурики. Вы за него вчера платили. А потом... Не обижайте его. Рублёхи убивают в нём все добрые чувства к вам.

Бабка просветлела.

– Тады лучше без убивства!.. Алёнушка! Ласточка-сизокрылица! Ну-к, скушай ложечку за нашего дорогого дядь Колю!

– За дядь Колю я скушала уже половинку талерки. Ещё ой полные три скушаю ложки.

Съедаются и эти обещанные три ложки под пенье уходящего Топы:

– *Каша манная* —

*Жизнь туманная...*

Потом Алёнка послушно ест за папычку, за мамычку, за

дедушку Митрошку.

– А теперь за компанию в охотку последнюю за меня... За любимую за бабушку...

Алёнка в замешательстве с тоской смотрит на бабку:

– А за тебя твёрдо не обещаюсь... Вовсе не обещаюсь. До чего ж ты вязкая приставоха! Я б тебя убила... Убила б и бегом назад в Латную к дедунюшке к Митроше. Дедунюшка Митроша русским же языком наказывал тебе не заставлять меня есть через силку.

– Оха, гомнючка! – пыхнула бабка. – Живёшь в катухе, а кашляешь по-горничному! Что ж ты меня в позор топчешь перед дядь Колей? Перед Топкой?! Да дедушка Митроха так ба тебе наподавал за меня! Добре, богатеiske отшшелкал бы!

– А я забежала б к Юльке.

– Он бы тебя и тамочки сгрёб!

– А я убежала б на самолёт! А самолёт он пеше не вдогонит. И о-оп к мамычке с папычкой на Майгадан!

# 12

*Юг для северной селёдки  
Что-то вроде сковородки.*

*Пётр Синявский.*

Сегодня Колёка сам заплатил за свой завтрак.

Бабка, конечно, подсуетилась, как и вчера, разбежалась за него платить. А он устерёг, вовремя прикрыл её кошель перевернутым гробиком ладонищи, отдал свои пенёны и сказал:

– Не переживайте. Счёт дружбу не портит.

– А мне что... Мне абы не портилось... Абы вони не кидало...

Ей нравилось, что Колёка был ровен, как и вчера, не строил из себя принца, не откололся. Отдал купилки всё до копья, но не отпал от бабки с внучкой, вместе потелепал из столовки одним кагалом на пляж за «Ореанду». На пляже, сразу от входа, свернул вслед за ними и приплёлся к месту, где толкутся родители с детьми.

Стали раздеваться.

Колёка мигом смахнул с себя штаны-майчонку и бултых головкой в океан-море. Только жердины пяточки и видали.

Вытаращилась бабка на воду, где под голубой толщью ку-

выркался Колёка, и стоит сама не своя. Совестно стало раздеваться.

«А ну увидя мои хрюшкины окорока, блевать, гляди, потянет... Не-е... Я уж перед ним денёшек какой на бережку так, одемши, поманежу...»

Она ждала, когда выплывет Колёка.

Отлилось, может, минуты с две, когда он выдернулся из морщинистой игривой сини метрах в тридцати.

Бабка ахнула и бежмя кинулась за ним следом.

– Ты на что, – кричит, – так далеко сплыл?!.. Акула, чертяка, укусе!

– Не укусит! – хохочет Колёка из колышущейся весёлой дали. – Подавится моими костями!

– А но давай назадки!

Помахал он ей ручкой и враскидку подрал дальше.

Цепеня, бабка закусила губу и всё шла, шла за ним, куда не заметила, что вода уже плещется ей в рот.

«Господи! Что ж я, щербатая поварёшка, вытворяю? Мне ж низзя в воду!»

Выскочила она на берег, с камня опало воззрилась в открытость шаткой воды.

Колёки уже не было видно.

Головы на синем маячили, а где Колёкина, поди разберись...

– Бабичка! Ты вся мокренькая, – дергала за палец Алёнка. – Раздевайсь! А то вся выстудишься...

Зыкнула на внучку бабка, поставила ладонь козырёчком к глазам. Низковато...

Взобралась на пальчики и растерянно всматривается в качкую, ленивую долину, что вспыхивала радостными бликами.

Колёка видел, что за ним наблюдают.

Видел, что бабка уже плоха на глаз и проплыл по крайке; неслышно подкрался на коготочках, пристыл с нею рядом.

Приставил скобку ладони ко лбу и задёргался из стороны в сторону, как это всё ещё делала в нетерпении бабка, – заполошно вглядывался в море.

Не прошло и года, как они столкнулись взглядами из-под рук.

В искреннем конфузе бабка обрадовалась, что Колёка жив. Вот он, жердина! Зубы ещё скалит!

И Колёке было приятно, что кто-то за него переживает.

Ей хочется поговорить с Колёкой, и она в ласке спрашивает:

– Кóлюшка! Солнушко наше! Ты не знаешь, где мои солнцезащитные очки?

– В сумку к себе заезжали?

– Вот только тут я и не была!

Она открывает свою блёсткую чёрную сумочку и в досаде натывается на очки. Вздыхает. Про что бы ещё такое спросить Колюшку?

А Колёка тем временем блаженно расстелился по горяче-



му песку во всю свою коломенскую версту.

Скоро его обсыпала любопытная детвора, и по слогам вычитывала, что было прописано тушью на Колёке.

На левой ноге, у корней пальцев, было промашисто выведено:

*Они тоже устают,*

Продолжение следовало на правой ноге:

*им тоже надо отдохнуть.*

На одной руке:

*Нам не страшен серый волк.*

На другой:

*Не забуду мать родную и ее слова.*

– Дя-дя, – поскрёб мальчуган Колёкин локоть, малое дитя не боится и тигра, – а какие мамкины слова вы запомнили?

– Усохни с глупостями... Ну-ка, кыш отсюда! Кыш, головастики... Линяй прочь!

Детворня неохотно отбрела и в отдалёке примёрла кружком.

И чего-то непонятного ожидала, уставившись на Колёку.

В кружок лениво вошёл незнакомый парень с облезлыми плечами.

Отпугивающе похлопал в ладоши:

– Брысь, брысь отсюда!

И просто, будто они с Колёкой век в друзьях, спросил:

– Ну ты, Пипино, чего весь расписан, как собор Парижской Богоматери?

– Засылай вопросишко полегче.

– Где кукуешь-то?

Колёка просыпал смешок. Вспомнил Алёнкин морской рисунок, приколотый к стене кухни как раз напротив их кле-тухи:

– В резиденции с видом на море... А по правдушке – в сараюхе с видом на кухню и на собачий дворец.

– У меня нюх. Так и думал... Ты мне глянулся с первого глаза. Может, двинем ко мне? Бесплатно... Я на севере колупаю в шахте стольники... Прилетаю сюда. На троллейбусной станции бабука сдаёт отдельную хазу на четверо рыл. Стакались. Едем. Бабука: «А где ж остальные трое?» – «Я за них. Люблю свободу. Один буду королевствовать. И не вздрагивай. Требуемый червонишко за каждую ночь гарантирую...». Я распределил койки по своим северным шевелкам. Эта Светина. Эта Ух! Катина. Эта Алина. Каждый вечер я *уходил* со своей подушкой с ночёвкой к одной из них по строгой очереди – спал на койках этих своих веселушек. Всё целомудренно, безо всяких обнимашек... На вто-

ром круге это суперское хождение меня стоило. Я завёл одну ялтинскую заводилочку. Этакая пикантная мармеладка с сумасшедшинкой. Зашибись! Полный шоколад! Живём горбато... Между прочим, на таксо бегаем в бундесратишко. Кидай согласие! Найдётся и тебе птичка для полного комплекта. Без бэ!

– А... Всё чики-пики. Мне по барабанчику! Да у меня этих птичек и так перебор! – соврал Колёка.

– Ну, смотри... Тогда не вопрос! А то ты мне глянулся. Думаю, что-то в грусти человеке, не помогу ли горю... Ну, я выпадаю в осадок. Покедушки!

Парень помотал лишь куцапым мизинцем и побрёл прочь меж тел, что тесно дымились на солнцепёке.

Замурлыкал:

*– Между берёз и осин*

*Слышится музыка дзынь да дзынь...*

Колёка лежал вниз лицом, раскидал по калёному песку руки.

Взвизгивала, плескалась у ног в надувном резиновом корытце голая Алёнка.

Бабка сплетни сплетала, библию составляла с какой-то пляжной старухой.

– У меня зять с головой. Сурьёзный. Там спокойный что! – докладывала старуха. – На работе указательный ему палец

отчихнуло. На одной козушке держался. Забегались пришить. Чего ж не пришить? В Литве вон девчушка под косилку попала. Отец косил, а она игралась в траве, не видал. Обе ноженьки так и отпанахало. Девчошку, ножки подобрали, на самолёт и в Москву. Пришили... Ага... Ходит... А тут палец. Экий страх! Ну, хотели ж пришивать. А зять распорядись отхватить совсем. Говорит: будь другой палец, ещё б подумал, а указательный... Указывать не буду... И этот анчутка весь в батеньку слит, – гордовато кивнула на мальчика в панамке и в трусиках. Он важно, нахмуренно обливал из детского ведёрка Алёнку, и та визжала от восторга. – В шесть пошёл в первые классы. Пошёл вместе с букварём и с журналом «Наука и жизнь». Вишь, какой захлёт? Ему скушно в школе. На уроках читает «Науку и жизнь».

– А мою мочёную визжалку, – пожаловалась баба Аня, – и в семь, наверно, дубцом не загонишь в школу. Убежит! Ей-бо, убежит!.. Глупей же валенка!

– Ты уж не гудь так солно, – возразила старуха. – Мы-то что, выскочили на свет на божий уже при всём при своём сегодняшнем уме? Вырастет, насбирает ума... Главно, есть за кем, есть и с кем собирать... Хоть нас, бабок, и в копейку не ставят, а вот нараз примри мы все гнилушки – жизнь станет!.. Сгаснет... Без бабок мир упадёт! Ещё как кувыркнётся! Всё наперекрès поскачет! У-у!.. Без бабок хоть глаза завяжи да в омут бежи... Вот убери старичьё своё плечо – безразговорочно упадэ дёржава! Бабы ж во все дыры носы

толкают! Детей подняли... Своё по чести отворочали. Все е рученьки положили... Не то что нонче, в деле будто береста горели... Да не сгорели... Теперь дома в три смены пашем. За нами дети спокойно работают. Под нашим глазом внуки спеют. Дома мало с ними кувыркались. Ещё на юга кати. Вишь оно как! Детям всё некогда. Одним нам только есть когда. Ну да ладно. Мы, стахановки, и внуков подыдем.

– И правнуков вынянчим! – согласно влилась в подхват баба Аня. – Мы ишшо как машины бегаем...

– Мы скромные. Мы долго жить не разбегаемся. По сто лет проживём и большь не будем... Хоть пока и блоху можем взнудать...

Старухи – сидели рядком – уткнулись друг в дружку плечами и рассмеялись.

Бабий перебрёх покалывал Колёку.

«Тоже стахановки... Видите, земля без них закрутится в другую сторону. Неподменимые... И на Ялту нету им замешушки... Работюлечки... Аж из духовок пар валит... А вообще... Бабульки падут... Внуков вон лечить притащили... А что ты привёз?.. Одну свою дурь?..»

Колёке показалось, что это не он самого себя спросил, а спросила одна из старух.

Он вскинул лицо ответить и тут же осёкся: старухи вяло мыли свои новостёшки, не обращали на Колёку никакого внимания. Словно его и не было.

И только мелкосня, заморожённая росписями на нём,

немо всё тарасила на Колёку изумлённые глазёнки, налитые укором:

«Дядя, а игде твои дочки? Ты зачема приехал без ниха?»

– Кыш отсюда! Кыш! – замахнулся на демонят, нервно впрыгнул в брюки и чуть ли не бегом дунул с пляжа, на ходу застёгивая ремень.

– Бабичка! Дядь Коля ушёл! – взахлёбку прозвонила Алёнка.

Всполошилась бабка.

– Кóлюшка! Да ты чё зверьком-та от нас бегишь? А обед?.. А ужин?..

С деланной весёлостью отстегнул Колёка:

– Ужин нам не нужен. А завтрак будет завтра!

Бабка брошенно припечалилась, проводила его плаксивым взглядом до выхода.

«Ну, – рассвобождённо подумала, – стесняться мне боль некого. Скину-ка я платью. Расчехлюсь... А то вся сопрела...»

Забрёл ненастный Колёка к себе в каморку под вечер. Сел на койку и заплакал.

Охая, Топа откинул лапой в сторону умызганную дверную тюлеву занавеску и вбежал.

– Коля, ты плачешь? В Ялте – слёзы?

Колёка посадил пса себе на колени, прижался к нему и заплакал навзрыд.

– Ко... ля... – растерянно забормотал Топа. – Не выпускай себя из рук. Жизнь... Она какая?.. В жизни тесновато... Меня вон тоже поджигает пустить росу. Но я держу себя в лапках. Мы мужики! Надо держать себя.

– Сволота мы, а не мужики! Я за себя... Я видел сегодня детские глаза. Душу выжгли!.. Ти... Они молчали. Но я-то, подлятина, слышал, как они спрашивали, и чего это я закатился в Ялту без своих дочек! Они, маленькие, там, дома. Жена одна с ними рвётся на нитки. Зато я кругом в воле, как селезень в воде. На ялтинском пляжу бледный бампер<sup>25</sup> поджариваю. Кобелино кудрявый!.. Не могу! Не могу!! Не могу!!!..

– Это уже прогресс, – меланхолично подхвалил Топа. – Раз помнишь, кто у тебя где, раз помнишь, кто есть кто – это

---

<sup>25</sup> Бампер – зад.

уже несомненный прогресс... Оно, конечно, и невооружённым глазом видать, что мы, мужичары, препасквильные кобельки при всём при том. Я про себя... Ты знаешь, от кого я сейчас ель живой вырвался? От родного сынули! Вот тут, в соседском дворе справа... Проклятый склероз, я совсем забыл, что он мне сын. Точней, я никогда и не помнил в суматохе будней, что он мне сын... Ну откуда и как берутся эти сыночки?.. Было дельце... Однажды раз дёрнуло проветриться по скверу по ту сторону нашей улички. Бегу меж щитами квартирному обмену и попалась на жизненном пути какая-то нечаянная дворянка<sup>26</sup>. Нюх, нюх... Пойдётся!.. Ну... Всякое дыхание любит пихание... Приняли мы в том скверике – скверное дело! – сеанс жгучей кустотерапии и брызг в разные стороны. Я и забыл в беге жизни про это приключеньишко. Больше я ту кнопушку и не видел. А она, оказывается, шикавала по соседству. Четыре двора от нас. С нею хозяйева ели за одним столом, спали на одном с нею диване, бегали в один кабинет задумчивости, куда и король ходит пешком, на легковухе увозили за город гулять. Она всё то в доме, то в разъездах, я её и не видел. А как родила, её и шварк за разврат с золотого довольствия. Выбросили на улицу. Где-то под заборчиком и притихла... Да... А сыночек остался. А сынонец вырос... Я ходил к нему запросто. Вовсе не подозревал, что он продукт моих нечаянных шалостей... И вот лежим сегодня, ветром надуваем друг дружке уши про пого-

---

<sup>26</sup> Дворянка – дворяжка.



ду, про разбойные цены на рынке, про ялтинские бублички. Как ужевал один, так заткнёт тебя, как клейстером запечатывает. На горшок хоть год не бегай... Все вроде мирно у нас катилось... Потом я запел про одинокую горькую старость. Зажаловался на ломоту в спине, на плохие глаза, на плохие зубы... И под плохонькие свои зубы прошу у него кусочек какой помягче, из НЗ, а он чёрт те что понёс на меня. Я ему: не гони волну. А то такую в ответ погоню, захлебнёшься. Он как бешеник кинулся и ну с меня живую шерсть клыками драть. Я ору, да в какого ж мерзавца ты вырос, а он: «В тебя! В тебя!!» И тут открывается, что я его папайя... Вот сынуля вздрючил. Ни сесть, ни лечь! И не пожалуешься. Поделом!.. Мне тяжелей сейчас, чем тебе. Но я слезой слезу не погоняю. Крепись и помни... Помни мой урок... Отдохнёшь ещё малешко и с Богом назад в родные места. Поругать поругают, выкатят на сто лет и простят. Драть пока ещё малы... Спеси исправиться, пока малы...

Колёка просветлел. Подумал, что у других покруче. Похвалился:

– И малы ещё, и ручки ещё коротки... Пока в оглобелку отрастут, успею, пожалуй, исправиться...

Был уже вечер.

Топе надо заступать на горячий пост – бежать ложиться на проходе во двор да смотреть, кабы чужого кого не занесло. Но Топы не мог уйти. У Колёки, чуял, начинался жар и

бросить парня одного ему было совестно.

– У тебя ничего не болит? – на разведку спросил Топа.

– Да так как-то... Как-то жарковато во мне... Это от нервов?.. А может, – крутнул в шутку, – от недостатка витаминов С – мясе? Сколь веюсь по столовкам, ни разу не видел натурального куска мяса.

– Это-то в ялтинской столовке ты хочешь увидеть мясо в натурель?

– Берёшь борщ. Написано, с мясом. Ищешь, ищешь мясо днём с огнём. Всю тарелку перекрестишь. Выпорожнишь... До дна дочерпаешься – до мяса никогда. Дно есть, мяса нет. Может, оно в саму тарелку вросло? Заглянешь тарелке в зад – пусто... И сам борщишка прозрачней морской воды. Скажешь кассирке. А она: съедят, а потом ещё по нахалке требуют!

– Иэ! Да с ялтинскими кассирочками надо уметь говорить. Подойди в следующий раз и прямо по-научному ухни: «По какой калькуляции вы берёте стоимость борща? Пожалуйста, покажите калькуляцию».

Колёка виновато хохотнул:

– Такую умность на голодный курсак не упомнить. Надо записать.

Он стал записывать.

А Топа выбежал и скоро вернулся. Важно шёл на одних задних лапах, нёс в передних на тарелке душистую куриную толстую ножку.

Прошиб Колёку пот.

– Однако, – трубно потянул носом куриный дух, – широко-о в Ялте собаки живут!

– И званые гостюшки не хуже, – мягко взял на зубок<sup>27</sup> Топа и подал парню курицу. – Это шлёт вам, сударь, вместе с пожеланием доброй ночи наша прекрасная хозяйюшка.

– Дай Бог чего ей хочется! – поклонился Топе с курицей Колёка, и тут же курица хрустнула у него под зубами.

Топа даже зажмурился, опустил глаза: боялся выдать свой собачкин голод.

Во весь же день у него не было во рту ни крошки.

Это сразило Капу.

Отломила ему ножку от целой курицы – принесла подружка, работала в гриль-баре. Отдружила ему Капа поджаренную ножку. Да у него не поднялась сила съесть её одному.

Как не дать больному?!

А больной и косточек не выплюнул. Всё сжевал.

– Ну! – долизывая собачью тарелку, воспрянул духом Колёка. – Передай хозяйюшке пламенный мой долгоиграющий приветик! Я на доброту отзывчив, как пионер. В бездействии меч ржавеет... Я уж в долгу не задержусь. Иконочку ей натру-у-с!.. Ой и натру! На стенку от счастья сиганёт! Ещё откусает моего кекса с сексом!

Плотнели сумерки.

---

<sup>27</sup> Взять на зубок – подшутить.

На набережной нудил оркестр духовой.

Плескались весёлые голоса. Ясно слышалось шуршанье ног. В маятном кривлянье кипели танцы.

Топа толочся во дворе на проходе.

Летел встречать всякого, просил чего-нибудь хоть на полизушки, вертя с голода заискивающе и лицом и хвостом.

Но все обходили, даже шарахались от него в сторону, кривились. Фу! Какая облезлая псинка ласкается!

А есть хотелось.

Потерял надежду, что кто-нибудь из своих, из дворян,<sup>28</sup> подаст и он побежал к уличным урнам.

Конечно, можно было б попросить у Капы – совестно навязываться.

Ну кто по два ужина подаёт?

В урнах нигде ни граммочки не нашлось.

Хлебные магазины уже закрылись.

Открыт один гастроном на углу. На Морской. До девяти открыт. Народищу там всегда непроход. Век у входа пропросишь, а ни одна рука не кинет.

Что же делать?

Надо возвращаться...

А ну случись что. С меня ж спустят шкуру и авкнуть не дадут.

Он загнанно прибежал к себе во двор, лёг у прохода и заплакал.

---

<sup>28</sup> **Дворяне** (шутл.) – бездомные люди, живущие во дворе.

Да кто ж собачьи видит слёзы?

Это было, пожалуй, несколько странновато: неожиданно уныло отошла ночь в сарайке.

Было темно.

Без света Колёка уже спал. По крайней мере, так показалось бабке, раз он не ответил, когда она вернулась с лихих танцев-шманцев и окликнула его.

Неслышно угнездилась она и, жалобно охая, всё подгнетала под себя свои ноги, боялась, что они ненароком выскочат жарко на свидание с Колёкиными оглобельками, как было в прошлую ночь. Её вовсе не потягивало, чтоб повторилась прошлая ночь, хотя ещё днём, на море, она горячо только и думала: не беда, перву ночушку так, на разгонку пустим, а уж во вторую подбегем поближь сознакомиться.

Да ночь пусто миновалась, ничего заметного в эту ночь не сварилось. Во всю ночь бабка лише того и вертелась, что почаству полохливо мазала в носу духами.

А утром они проснулись французами.

С простуды говорили в нос.

Она ладилась не показать Колёке лица. Очужело дала ему свой градусник.

Тридцать семь и пять!

– Хох! – ужаснулся Колёка. – Да где это я простудифилис ухватил? Вот те и Ялта! Курортный пуп!.. Невжель в ин-

галяшке ухватил? Аппаратишко студёный был... Ти, надышался холодного... А вы с чего заговорили, как в центре Парижа?

– С дури, Колюшка... Что удумать надо! Сидеть на пляжу в мокром платье... А с моря сквозило... И нанесло простуду...

– А чего в мокром было сидеть?

– С больша ума!

Бабка яростно подолбила себя в лоб кулаком:

– Когда в лобешнике нету, из элеватора ума не натааскаешь!

А про себя осудительно подумала:

«Я ж, Машка из колхоза «Ромашка», конфузилась при тебе, милостивец, растележиться. Вот и отсиживалась в мокроте на ветрине...»

От духов в носу всё покраснело.

Совестно всё это выставить Колёке. И она полное утро толклась возле в сарайке, ловчила не повернуться к нему лицом.

Угинала сильно голову, низко покрытую тяжёлым зимним платком, так что он не мог видеть её лица выше зубов.

Всё так же отводя лицо, налепила она ему на грудь и на спину горчичники, приборматывая:

– Наша Дунья не брезгунья, мёд так ложкой жрёт. Скоко ни поставь, увесь утолкая...

Потом отлила ему полбанки мёда из Алёнкиного доволь-

ствия – дед Митроша на своей пасеке добывал.

Налепила она и себе горчичников на спину, на грудь; тепло, не по ноябрю ли оделась и повела Алёнку на пляж.

Зуделось бабке сложить ручки да отлежаться, как Колёка. Но что же с Алёнкой делать? Надо вести на пляж.

Она и повела, всё плотней собирая на груди плащ и пиджак, чтоб под ними да под тремя кофтами горчичные жгучие листики не съехали вниз, не отпали.

Она разморчиво шла и горевала, что пожгла духами всё в носу, перестала ясно разбирать запахи. Как теперь выбирать в столовке еду Алёне? А ну вдруг какая несвежесть поймается в руку?..

День перевернулся на другой бок.

Топа стянул со спящего Колёки простыню.

– Губу кверху задрал...<sup>29</sup> Храпит, свистит и прочая...

Подъём, засонька!

– То-оп, отвянь... Я весь как побитый. Будто на мне танк лезгинку поплясал...

– Понимаю, болит... А всякая боль ищет врача... К врачам! К врачам надо!

– Ти... Да откуда мне знать, где они эти ваши помощники смерти?

– Я знаю. Вставай. Провожу.

– Может, я ещё бабкиным мёдом да горчичниками отба-

---

<sup>29</sup> Губу кверху задрать – лодырничать.



рабаниюсь...

– На можа худая надёжа.

Переломил себя Колёка, еле столкнул себя подняться и тихонько, впригиб поскрёбся за Топой в поликлинику.

В регистратуре сказали, что врач Логовская обслуживает приезжих. Так она уже ушла. Будет завтра в вечер. Но вот вам на всякий случай талончик к терапевту Нестеровой. Может, примет.

От Нестеровой Колёка выпихнулся с возом рецептов.

Он считал дело сделанным. Со спокойной душой рванул к неостывшей ещё подушке, да Топа и тут подломи его на совсем крохотуленький крючочек с секундным заскоком в аптеку.

Пыхнул малый на собачью назойливость. Однако здравый смысл выхватил в нём верх. Действительно, ну чего охать с рецептами? Не лучше ль обменять их на лекарства?

В аптеке Колёка заискивающе подал в окошечко свои бумажки молоденькой, свежей козочке. Игриво спросил:

– Чем вкусненьким возрадуете?

– Стрептоцид, сульфадиметоксин... А это... Два пузырька календулы...

Козочка была предупредительно холодна.

И уже скептически принимал он из точёных ручек свои тоскливые яства.

– Но в моём наборе не хватает зубровки. А таблетки надо запивать зубровкой. Тогда таблетки крепче берут.

– Кто вам сказал?

– Брежнев. Он все таблетки запивал зубровкой.

– Какой-то маразм... Зубровка в мавзолее<sup>30</sup> на углу. Но не глупите с вашей зубровкой. Это вам медицина советует...

– Но если сама медицина... – почтительно прошептал Колёка. – То я не смею возражать, – поднёс он вытянутую ладонь к виску.

«Всё! Амбец! В постельку! Имею полное выстраданное право, магнит тебе в сумку!...»

Колёка твёрдо взял курс на свою резиденцию.

Нудяга Топа и тут сшиб его с толку. Уверил, что таблетками да полосканиями в долгожители не проскочить. Надо хоть разок горячего поесть. Как говорят одесситы, неужели пообедать их уже не интересует?

И притащил его Топа в столовку на набережной у театра, где Колёка раньше уже ел.

Взял Колёка борщ. Спросил раздатчицу, с мясом ли он.

– Вы что, неграмотный? – всплыла та на каприз. – Читать не умеете?

– Про мясо в меню я читал. Теперь, – погонял в тарелке ложкой, – хотел бы в вашем присутствии натурально свидеться с ненаглядным мяском.

– Моё присутствие ничего не прибавит, а потому и не обязательно! – рубнула раздатчица и крикнула в шипящую в парах глубь кухни: – Оля-а! У нас борщ с мясом?

---

<sup>30</sup> **Мавзолей** – винный магазин.

Недра кухни безмолвствовали.

За столом Колёка навалился визуально изучать свой борщ.

Он пристально смотрел в тарелку. Снайперским проходил глазом сантиметр за сантиметром.

– Ти!.. – поражённо бормотнул. – Вижу цель! Но почему она движется? В борще живое мясо?

Поднёс тарелку Топе.

Топа деловито заглянул в тарелку и перенёс скучный взгляд на потолок.

– Милый друже! – постно сказал Топа. – Да это ж муха торжественно идёт по потолку! А отражается у тебя в борще. Наваристый до чего борщок!

Колёку вдруг заскребло поделиться борщом и шницелем. Сообразительный пёсик, как не угостить!

Топа замахал обеими лапами:

– Что ты! Что ты! Господь тебе навстречу! Мне ещё в охотку пожить... Извини, в ялтинских столовых не могу есть. Раз отпробовал именно в этой тошниловке шницеля – эсколь на одре лежал да на склад готовой продукции<sup>31</sup> глядел! Ель оточчался...

– Ну, оточчался ты... Я ль хуже тебя? Никуда не денусь. Оточхаюсь...

Жалко было выбрасывать рубляшки на ветер. Колёка обречённо подмёл борщ и шницель из одного старого хлеба и

---

<sup>31</sup> Склад готовой продукции – кладбище.

как ни странно твёрдо подошёл к кассирше. И так же твёрдо, как велел вчера Топа, спросил со своей двухметровой выси:

– У меня в борще не было мяса. Но зато была муха. Замените.

– Не можем. Нет у нас больше мух.

– Тэ-экс, дожили... Ни мяса, ни мух... Богато живём! Тогда... По какой калькуляции вы берёте стоимость борща? Пожалуйста, покажите калькуляцию.

Кассирша, что нависала белой скалой над своим аппаратом-погремушкой, без единого звучочка ласково вернула какие-то дохлые копеюшки за отсутствие присутствия мяса. Даже поблагодарила:

– Большое спасибо, что сказали. Мы этой Оле – выговорщиком по мозгам! Мы ей та-ак!.. Она там, – мстительно бросила глаза в затянутую тугим паром даль кухни, – она там из штанишек выпрыгнет!

Колёка был страшно доволен, что наконец-то прошиб этих столовских, и возвращался домой уже в добром настроении.

Ему нравилась набережная, бело залитая людьми.

Нравились весёлые облака, что наезжали на дальние горы. Вчера тоже наплывали, да посидели, посидели на горках и ушли.

Уйдут и сегодня!

Дома Колёка сказал Топе:

– Я больной. Ты здоровый. Поэтому я царь, а ты мой раб.

Вот я лежу на отходе, а ты разные травы мне покажульки, покудушки не дам я храпунца. Служи!

Топя послушно встал на задние лапки. Сложил передние на груди.

– Слушаюсь, мой достопочтенный повелитель. У меня этих разностей лопатой не прогрести. Вот... Ага... Про Менделеева без таблицы... То есть известный Менделеев. Известный тем, что увидел во сне таблицу. Теперь вот, пожалуйста, человечество с таблицей. А мой не увидел. Потому без таблицы. Потому и неизвестный... Он учёный. Химик. Невезучий... Мне его откровенно жалко...

Какой-то он весь маленький, затрапезный, обиженный. Кажется, он и родился уже с обидой на лице. На работе никакой везетени. А в личной житухе, с женой, и вообще полный завальный прочерк. Не подвезло с женским вопросом.

Всякий раз, как жена накатывалась обидеть его, ехидна начинала распеканцию одними и теми же злыми словами:

«Ну что, Менделейка ты мой бестабличный? Даже сна путящего не можешь увидеть!.. Когда ж ты, голубеюшка, возрадуешь человечество *своей* табличкой? Я ж все жданики уже прождала!»

Означало это ни больше ни меньше – когда ж ты человеком станешь?

Это я не к масти... Как-то с серёдки вломился в историю. А надо зайти с самого начала. Со знакомства с Менделеевым...

Я жил в Кускове. Недалече так от парка.

У дома, где изволил прислуживать ваш покорный слуга, наша Рассветная аллея – были ж у улиц красивые имена! – гнулась в колено. По ту сторону улицы пробрызгивали наблёщенные нитки железной дороги и дальше, за мостом, открывалась уже Чухлинка.

Ну, жил я и жил. И вот моим хозяевам выщелкнулась квартира в новом доме. Этот, в Кускове, домишко – под снос. А в новом дали. В новый меня брать не разлетелись. Но и не захотели, чтоб мотался я по свету побирошкой бездомным.

*Сам* поволок меня в ветеринарку. *Сам* владыка.

Всё идёт своим порядком. Владыка тащит, я упираюсь. Всяк занят своим делом. Ну, кто особо горит в молодые лета уйти пускай и в лучший мир?

Упираюсь я, упираюсь. А живодёрка всё ближе, ближе.

*Сам* всё распаляется на моё упрямство, распаляется... Я и смекни. Побегу-ка я смирно. Пускай он мою покорность примет всю до доньшка. Пускай угомонится и без оглядки дует в живодёрском направлении.

А я тем временем...

Подорожником легло к душе владыки моё смирение.

Взыграло сердчишко. Впереди вприскок дует-мурлычет.  
На меня ноль внимания.

Я и займись делом.

Перегрыз кожаный поводок. Уже у самых у живодёрских  
ворот выдернулся на волюшку вольную...

Года два трепался, как осиновый лист. Бродяжил...

Узнал, почём сотня гребешков. Кормился всё больше голодом... То у столовки или у магазина подежурю, сердобольная душа какая и одарит кусочком. То на помойке что выхвачу...

Однажды летом накупался я досхочу в собачьем пруду.

Жара. Благодать.

Лежу я под кусточком, благоденствую... И так мне славно, и так придавило меня счастьем, что я на радости авкнул и выскочил из-под куста, кинулся вслед за просквозившим мимо велосипедистом.

Побежал я так. Абы размяться на радостях.

Лечу со всех лопаток, в нитку тянусь. А нагнать нет меня.

«Товарисч! – крикнул прохожий вдогонку Менделееву. – Что ж вы так молнией летите? Ваша тявкуша за вами не поспевает!»

Менделеев дёрнул плечом. Остановился.

Ужимаю я голову и, повинно помахивая хвостом, побрёл к нему.

Шага за три плюх на живот и пополз.

Подполз, сел. Не подымаю глаз. Подал ему лапу.

Он взял мою лапу, в печали прижался к ней щекой.

Я посмотрел на него и понял, что он такой же одинокий, такой же несчастный, как и я. Позже как-то Менделеев проговорился мне, что запечалился он тогда от внезапно примкнувшей к нему мысли про то, что к злому человеку никакая собака первая не подойдёт.

«Ты хочешь со мной в дружбу войти?» – одними глазами спросил Менделеев.

Я постучал по земле хвостом.

Он как-то озарённо подкинул меня на багажник, уложил передние лапы на сиденье. Держись!

Во мне каждая жилочка облилась потом. Так высоко я никогда не восседал.

Придерживает он меня одной рукой. Другой осторожно ведёт велосипед. Сам вышагивает рядом.

Ледяной страх связал меня. Думал, вот-вот свалюсь чуркой. Но Бог миловал, удержался я за сиденье.

Сызбоку он долго катил свой костотряс.

Я гордовато восседал на багажнике и цепко держался за сиденье. Под конец страх совсем отпустил меня. И до самого его дома добрались мы без происшествий.

Он дал мне хлеба, колбасы, молока. Что ел сам, то и мне дал.

Пока я ел, он нагрел в толстомордом чайнике воду.

Вымыл меня в тазике.

Удивляюсь, зачем ему всё это нужно было?



У меня тогда видок был – без слёз не взглянешь. Бок вышпарен кипятком, почти весь я облез. Весь то ли в коросте, то ли в лишае ползучем, то ли ещё в какой заразе...

На новый день Менделеев привёл собачьего доктора.

Доктор выписал мазь.

Стал Менделеев мазюкать меня той вонючкой. Вскоре всё моё тело было чисто.

Он назвал меня Байкалом.

Так звали старую собаку хозяйки, у которой мой Менделеев купил комнатёху. Байкал давно умер, но будка ещё уцелела. В ту будку Менделеев и определил меня.

Будка была сама ветхость. Протекала.

Менделеев подселил меня к себе на веранду, прорезал в низу двери для меня лаз.

Вообще Менделеев толковый мужичина, прочно стоял на земле.

У его калитки раньше гнила помойка. Сколько просил соседей больше не лить ему под нос! А ему всё лили, всё лили-подливали по старой накатанной памяти.

Тогда Менделеев развернул на помойке огородишко. Понатыкал клинышки картошки, помидорчиков там, огурчиков...

Засовестились лить на огород. Помойка пропала.

И любил он подсолнухи. Сажал под окном. Сажал корней двадцать в разное время.

И потом всё лето ему золотом светили в окно крупного-

ловые солнца.

Он откупил, как я сказал, одну комнатку. Вход был через хозяйкины апартаменты.

Хозяйка, одинокая старая бестия, всё подшучивала:  
«Вход через перёд хозяйки!»

А надо сказать, похабь Менделеев под любым соусом не терпел. И в одно из своих окон вставил дверь. Ножовкой прорезал бревнышки толще себя! Одно бревно – сидело над окном – неожиданно выпало. А Менделеев резал нижние брёвна. Задело упавшее бревно Менделеева лишь за ухо и благополучно ухнуло сбочь. Всего в каком сантиметришке просквозила смерть... Иначе б я никогда не встретил своего Менделеева...

Каждый вечер я подбегал к электричке, встречал его с работы. Поужинаем и укатываемся гулять.

– Любезный, – как-то сказал мне Менделеев, – тебе при всём твоём дворянском сословии<sup>32</sup> надлежит гулять при полном параде. В галстуке.

На прогулках он ездил на своей самокрутке.

Я широко, со всей скоростью, летел рядом, и живым костерком горел у меня на груди большой красный бант.

Этот красный роскошный бант вызывал у всех у кусковских кобелей и сучек злобный, завистливый восторг.

Однажды раз Менделеев сказал:

«Старичок! Желаешь, я тебе бабу добуду? Большу-ую!..»

---

<sup>32</sup> Дворянское сословие (здесь) – дворяжка.

Грешен, я люблю больших. С ними как-то разгонистой душа. Певучей».

И притащил архаровец. Это упасть!

Она мне не понравилась. Высокущая, костлявая. Худая корова!

Попихал нас Менделеев в дровяной сарайко под своей вейрандой.

Князев подал ужин.

Так эта тоскливая жирафа счавкала всё до последней косточки и радость свою на всякий пожарный случай прикрыла хвостом. И всё вертится, вертится. Как змея на колышке.

Между нами, мальчиками, затвори глазки и дуй без оглядки вперёд! На сближение!

Но зачем закрывать, когда в сарае и без того темно, как у негра под мышкой?

Лихо доспелосся.

Подтираюсь я к ней с поленницы. Поленница с громом завалилась. Меня так и одело холодом. Со страха отнялся от языка...

Сунул Менделеев мне во спасение скамеечку. Вот тебе, друже, подставочка! Вперёд! К дорогой победе!

Да эта стервоза выставила метровые клыки – пантомима враз вся и разохлась! Спеклася!

Было это на Марью-вралью.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Марья-вралья – первое апреля.

## 16

Через какое-то время и Менделееву дали квартиру в новом доме.

Но не бросил голубчик Менделеев меня. Так и с собой взять не мог.

У него месячные командировки. На кого кинешь меня?

И всё равно не потащил меня в живодёрку.

Пустил на все четыре ветра.

Гуляй! Авось Господь сведёт!

И свёл.

Столкнулись мы глаза в глаза года через два на углу рембазы болтов и мохнаток<sup>34</sup> и больше не разлучались.

На ту пору мой Менделеев как раз женился. И уже было ему на кого меня оставлять.

И насмотрелся же я! Ох, люди... Ох, люди...

Только мой бедный Менделеев за порог – у жёнушки кавалеристов полк!

И на весь полк свой жаловалась мне:

«Топулька, если б ты знал, что за выморочь мужики пошли! Положишь сверху – засыпает. Положишь снизу – задыхается. Положишь сбоку – смотрит телевизор. Посадишь – просит есть. Поел – сразу уходит...»

---

<sup>34</sup> **Рембаза болтов и мохнаток** – кожно-венерологический диспансер.

Перед загсом эта задокрутка сгоняла Менделеева в триппер-холл.<sup>35</sup> Мол, добудь, справчонку, мил-сердечный друг, что у тебя в наличии не имеется ничего такого-эдакого типа трипака<sup>36</sup>... Что безопасен в семейной жизни. Сама она, правда, загодя возложила на алтарь семьи сморщенную справку с печатью о своей невинности.

Хэ! Невинная после длинного!

Дал ей эту справушку один ух и заслуженный работник органов,<sup>37</sup> матёрый её любовник.

Менделеев знал, что его лада порядочная изменщица.

Однажды он улетает на лечение в санаторишко и даёт мне листок.

«Вот тут вся правда, – показал на листок. – Как только у моей... возле моей непорочницы затокует какой бугор – бегом эту бумажку на почту. Это телеграмма. Мне».

Я сделал, как было велено.

Телеграмма страшная.

Не решились отдавать Менделееву сразу.

Понесли на согласование к главному врачу санатория.

*«Умерла жена тчк приезжай похороны тчк Тимофей Волкодавов тчк»*

Прочитал это главный. Задумался вслух:

«Ну вот вручи такую телеграммочку... Ещё одна смерть

---

<sup>35</sup> **Триппер-холл** – кожно-венерологический диспансер.

<sup>36</sup> **Трипак** – триппер.

<sup>37</sup> **Работник органов** – врач-гинеколог.

гарантирована. А вдруг там что напутали? А вдруг там что да ни будь и не так? Пускай-ка уточнят. А мы тем временем хоть немного подготовим Менделеева...»

И пошла назад телеграмма Тимофею Волкодавову:

*«Сообщите зпт когда похороны тчк»*

И получаю я её, – а надо заметить, Тимофей Волкодавов – это я. Так между нами Менделеев звал меня. Не конфузья-де, дворняга, будь волкодавом!

А Топкой Менделеиха меня окрестила. Говорит, для Байкала я не доросши...

Так вот, получаю я эту телеграмму. Развожу лапами.

Телеграфирую открытым текстом:

*«Похороны отменяются вскл доступ к телу продолжается вскл».*

Про похороны Менделеев так ничего и не узнал.

А между тем жизнь его всё быстрее и быстрее катилась под уклон. Здоровьишко осыпалось, как осеннее дерево в заморозки. Всё чаще залетал он в больницы, и что самое горькое, вылечит одно – возвращается оттуда уже с завязью в себе новой беды, что крепла на воле и снова выживала его в скорбный дом.

Как-то поскользнулся он в магазине на разлитом по полу майонезе.

Больница.

Уже долечивал сломанную в коленке ногу – начал по утрам втихую прикашливать.

Сказать про кашель врачу застеснялся. А! Мелочь! Усохнет.

Дома – температура.

Позвал врача на дом.

Лихой коновал Таранченко успокоил. Ничего страшного.

Пройдёт. Побольше пей тёплого, горячего.

Пил.

Жар усмирил. А лайкий кашель всё так при нём.

Он бегал в поликлинику, как на работу.

Там передразнивали его кашель, язвительно смеялись.

Кончай тереться-мяться! Кончай сбивать баклуши! Сидяка!.. Не манит тебя работа, вот всё и выискиваешь по кабинетам липовские хвори.

Но когда по команде горздрава его обследовали в боткинской, в районке поприжали хвосты. Диффузный двусторонний атрофический бронхит! Это по науке. А по-нашему – радости мало.

Его лечили.

Да далече ль ускачешь на лечёной кобылёнке?

Лето кой-как перепрыгнул воробейка.

А осенью мой Менделеев совсем закис. Только выпишут в работу – через три дня опять отбой. Припев старый. Кашель. Озноб. Разбитость. По вечерам температура забегает за норму.

Потащили его на какую-то комиссию.

«Они там, – рассказывал он мне после комиссии, – думают, что я симулянт. И ну начитывать мне моралите про совесть, про дисциплину, про ускорение. И ну со всех боков шпильками поджигать. Стою сам не свой. Все во мне гудит. Всё во мне плачет. Товарищи, говорю, давайте плотней к делу. Я очень плохо себя чувствую. У меня постельный режим. Я еле стою на ногах. Через пять минут я упаду!

Тут-то Таранченко и взвейся:

«Вы кто такой, чтоб диктовать нам свою волю?! Пять минут! Пять минут!.. Да вы настоящий хулиган! Да вы куда пришли? Здесь уважаемая комиссия центральная! А вы! Нет, я вызову отряд милиции! Уж я призову вас к порядку! Мы вам покажем симулянтский разбой!»

Я сказал главврачу Шубиной. Майе свет Фёдоровне:

«Вы что, взяли повышенное сощобязательство довести меня именно сегодня до инфаркта? Сегодня и ни днём позже?»

Главная была значительно вежлива:

«Ну... Если вам станет плохо, мы окажем помощь. Вас окружают такие все специалисты. Элита-с!.. Цвэт!.. Вот Ирина Викторовна Соловьёва. Заведует терапевтическим отделением. Вот Виктор Иванович Таранченко. Зам. главного по экспертизе, председатель нашего втэка... Да и я, главврач, кое-чего, наверное, стою... Мы вам поможем...»

«Спасибо. Я уже однажды ощутил вашу помощь. В прошлом ноябре я вызывал врача на дом. Приехал Таранченко. Диагноз от меня скрыл. Или вообще не смог установить. Я



спросил, что у меня. Он отмахнулся: «А! Пейте больше тёплого, горячего». Выписал жаропонижающее и уехал. Практически никакого лечения не назначил. В расчёте, что время сделает процесс необратимым? Так и есть. Давненько у него горит зуб на меня... Он этого добивался. Он этого добился. Это ль не отместка?»

«Боже! Ну какую тлю вешать! – умученно сморщилась Соловьёва. – Да у вас катаральный, необструктивный... О таком бронхите всякий кашлюк может только мечтать!»

«Так заберите у меня эту мечту. Вручите этот таранченковский подарочек по знакомству кому-нибудь своим близким...»

«Ну а мы пока вручаем *вам* это», – вальяжно перебила меня Шубина и грациозно протянула градусник.

Тридцать семь и семь! Давление сто сорок на сто.

«Давление несмертельное, – всплеснулась Соловьёва. – И температура не температура. Это не температура, а одни семечки. Вот тридцать девять – это о-опс!»

«А сорок три вас не греет? Всё-таки пожарче?.. Или вы только на тридцать девять согласны?»

«Тридцать девять не тридцать девять, но при ниже тридцати восьми и трёх не приходите впредь. Не дадим мы вам, извините, больничный».

Совсем задумали. Совсем затюкали.

Сижу за стулку держусь.

Последний парок от меня отскакивает.

Вроде уже как из туманной кисеи, из далёкой-предалёкой далины подталкивает ветром ласковые шубинские слова:

«Мы вас хорошо подлечили... А эта пустяковая температура, это давление – это всё от нервов...»

Я не удержался. Горько прыснул в лапу:

«Эха, Менделеев, все болячки от нервов. Лише один сифилисок от удовольствия. Да после того удовольствия чешут именно в тот недоскрёбишко, где на углу мы встретились с тобой в последний раз...»

Менделеев печально махнул рукой и продолжал шубинское:

«... Мы направим вас в соседнюю в шестьдесят девятую поликлинику. Там хороший психотерапевт... Ну-ка, вытяните руки. Та-ак... Пальцы подрагивают... Астено-невротическое состояние налицо!»

«Да вы кого хотите доведёте».

«Колкости я не принимаю. Неприёмный день. Психотерапевт из шестьдесят девятой ещё подлечит... Поможет вам внушить себе, что вы абсолютно здоровы».

«А может, не внушать надо, а лечить? На что ж вы белый хлебушек с маслицем переводите?»

«Ну, как же после таких слов не посылать вас к психотерапевту? – С трудноласковой, с драной улыбочкой Шубина прихлопнула по столу, дала понять, что разговор окончен. – Вы свободны. Подождите за дверью. Получите направление».

Уж и не знаю, как я вышел в предбанник. Прижался коленкой к креслу, а сесть нету сил.

Поторчал-поторчал и безо всякой мысли, машинально побрёл вниз.

Уже на выходе будто кто тронул меня за плечо.

Я глянул вбок – приоткрыт процедурный.

Вошёл, спросил градусник. Тридцать восемь и четыре!

Я словно очнулся.

Во мне что-то молодо взбрыкнуло. Борзым козликом стриганул я наверх поскорей доложить о своей королевской температуре.

Но секретутка своей носорожьей тушей закрыла всю шубинскую дверь. Чуже сунула мне направление:

«Какие вопросы – к Ирине Викторовне! Она у себя на третьем этаже».

Именинником влетел я к заведующей отделением Соловьёвой. Её медузьи глазки закруглили.

«А знаете, у меня ваша температура! Выше!.. На ноль и одну выше! Что мне делать?»

«Пейте на здоровье анальгин, – затынулась холодом Соловьёва. – Приходите завтра к Виктору Ивановичу. Одна, без Виктора Ивановича, я не собираюсь вас смотреть. Да и что смотреть? Всё видела наверху».

Я разинул рот, похоже, до неприличия широко.

Как же без Таранченки, если этот тутурский поп<sup>38</sup> сидит

---

<sup>38</sup> Тутурский поп – самец кукушки.

тут же?

Таранченко дёрнулся к телефону. Налёг набирать, а сам мстительно вбубенивает, метит в меня камнем:<sup>39</sup>

«Уж сейчас-то вызову милицию! Не таких прохиндеев подламывал! Только косточки хрупали. Кэ-эк же хр-руп-п-пали!»

Его угрозы не производили на меня впечатления.

«Вызывайте, вызывайте, – поощрил я. – Если кому и нужна милиция, так это для усмирения лично вас».

Таранченко шваркнул трубку.

«Так вы не согласны на выписку?» – меж зубов выжала Соловьёва.

«Интересно... Раз вы считаете, что я здоров, так зачем вам моё согласие на выписку? Считаете, здоров – выпишите».

«Абсолютно здоров! – подкрикнул Таранченко. – Вы должны совесть иметь! Вид нецианозный... Чего вам ещё надо? Че-го?»

Я положил на стол больничный. Выписывайте!

Соловьёва закрыла больничный, дала расписаться и Таранченке.

Таранченко торопливо карябнул свою загогульку.

«А теперь, – говорю я, – вопрос на дорожку... Просто уяснить для себя... Сейчас у меня тридцать восемь и четыре. Повышенное давление. Боли в груди. В животе. В сердце.

---

<sup>39</sup> Метить камнем – желать зла.

Всё это я приобрёл у вас за ту неделю, откуда вы меня *лечили*. Когда открывали больничный, я был неясный больной. У меня была одна-единственная жалоба: по вечерам температура запрыгивала за тридцать семь и два. Других жалоб не было. Не было, милые! Так скажите, за каким кляпом я бегал к вам неделю? Чем вы помогли мне за эту неделю? Тем, что повесили на меня венок новых хворей? Не это ли называется «психи захватили сумасшедший дом!»?»

Таранченко саданул кулачищем по столу.

Мёртво уставился на Соловьёву.

«Ну разве это не издевательство, говоря открытым текстом? Разве это не хулиганство чистойшей воды? Люди на работе! А он с горячими подковырками! Кэ-эк я жалею, что уже сейчас я должен быть далеко отсюда... Надо лететь по вызовам к действительным больным. А тут этот хулиганик морочит голову! У-у! Будь я свободен, сам бы притаранил его в трибунал.<sup>40</sup> Сам! Са-ам!..»

---

<sup>40</sup> **Трибунал** – отделение милиции.

Я вызвал из дому неотложку.

Должен был приехать Таранченко. Больше ехать некому.

Я ждал его. Ждал и не дождался.

Приехала молоденькая терапевтичка, раза два её видел. Ласковая, обходительная, так в душу и въётся.

Послушала. Выписала что-то.

Сказала, чтоб при необходимости шлёпал прямо к ней безо всяких.

Это меня смутило. Ещё больше смутило то, что она с дальнего подхода отговаривала ходить в соседнюю поликлинику. И у нас-де по нервам не хуже. Сами с усами! Если-де что, справимся!

Я ничего не понимал.

Какая-то смутная тревога холодно охватила меня. Я уставился на врачу как баран на подштопанные ворота и молчал. Тут она почти упёрлась лбом в мой висок и под большим госсекретом отшептала:

«В шестьдесят девятую – ни ногой! Иначе загремите в психарню имени Пети Кащенко! Но я вам этого не говорила!»

И возложила игривый пальчик на томкие губки.

Я готовно заткнул уши и таким же шпионским шёпотом доложил:

«А я всего этого вовсе и не слышал от Вас!»

«Вот и ладушки...»

Она ушла.

«Ох так штука... – загоревал Менделеев. – Вот уже и доехал до... Довоевался на доблестном медфронте до принудительной психушки!.. Странная петрушка, однако!»

«И в голову не бери! – говорю ему. – Ни петрушки, ни укропа! И никаковской психушки-психодрома. Что ты, или какой правозащитник? Так не похож... Ты не Сахаров... не Щаранский... Ты даже не Солженицын! Чего на тебя психлекарства переводить? Может, это она так, для согрева ляпнула? Чтоб проникся почтением к ним? А не будет смирения твоего, можем, дескать, и упрятать для вечной сохранности кой-куда подальше. Больно широко разбежались в посулах, да вовремя подхватились... Убоялись... А ну куда вверх ты стукнешь? А жить спокойно всё же всем хотса. Просто сами запоздало допетрили, что погнали чересчур бурливую волну. Такую буйную, что их самих может накрыть... Дай-ка сюда это весёленькое направленьице к психу...»

В направлении так писалось о моём Менделееве:

*«Жалобы на сухой кашель, периодическое повышение температуры по вечерам.*

*Больной эмоционально сесебилен, выражен тремор рук. В лёгких дыхание жёсткое, хрипов нет. Тоны сердца приглушены. АД 140/100.*

*Проведено обследование: при рентгенологическом исследо-*

ваши патологии не выявлено. ЛОР-врач – хр. фарингит. Ан. крови: гемоглобин 134 г/л, лейкоциты – 5,3, СОЭ – 3 мм/ч.

*Учитывая жалобы больного и объективную причину, выраженный тремор рук, раздражительность, считаем, что в настоящее время имеет астено-невротическое состояние. Необходима консультация и лечение психотерапевта».*

Врачи-с... Ну гиппократишки! Ну подручные смерти!.. Ни стыда, ни тем более совестишки. Зачем они сляпали эту пасквильную пустобайку? А чтоб их черти горячим дёгтем окатили!

От народец! От народец! Да как же вы посмели ни за понюх табаку вывалить в грязнотище невиннейшую, чистейшую душу?!

Менделеев не то что муху не обидит – косо на муху не глянет! А они, пирожки с молитвой...<sup>41</sup> «Эмоционально се-себилен, тремо-ор рук... раздражительность...» Да хоть кому прищеми хвост – бивни враз оскалит! Что ж, по-ихнему, ты мне в рот палку пихай, а я радуйся ей?

Вышел я в бундесрат, подумал думушку на горшке, кинул то направление в унитаз и дёрни грушку.

С горячих глаз Менделеев чуть было не съездил мне по мордасам.

«Ты что утворил! – кричит. – Где я буду лечиться?»

И такая меня боль сжала, что я тоже крикнул:

«Да они взяли тебя на зубок! Спихнизмом занимаются!

---

<sup>41</sup> **Пирожок с молитвой** – пирожок без начинки.



Лечить сами не лечат, спихивают под милым предлогом в соседнюю поликлинику. А те своим соседям. В шизиловку! А ты и рад? Не поймаешь издёвку? Ты промеж строк почитай. У Менделеева не все дома, разбежались кто куда! Мы натешились, жалаем, чтоб и вы, соседушки, не кисли в скуке! Вот что живёт промеж строк. Читай промеж строк, головушка горькая... За здоровьем к кому веется... Жди! Врачи здоровья вставят? Последнее не вырезали б... Вон у нас, у собак, много врачей? До чёрта и больше? Особенно по деревням? А кто из нас раньше своего часа в доски ушёл?<sup>42</sup> У нас всяк сам себе врачун. Сам знаешь, какая травка от чего. Травками и спасаемся. Взаправде!.. Так что сам добывай себе здоровьишко... Я слышал, как один медик-профессор говорил знакомому гардеробщику: хочешь прожить всё, что тебе подала судьба, не суйся к врачам. Учекрыжат век!» Менделеев мой помирнел. Ни к какому психу не пошёл.

– Это и всё? – разочарованно спросил Колёка. Он ждал круто замешанного вернисажа. – Чтой-то сольки не улавливаю...

– Не перебивай. Подловишь... Всё впереди, раздёнсья и жди... В тот вечер, когда Менделеева сошвырнули с больничного довольства при тридцати восьми и четырёх, он никак не мог заснуть. Чуть прикорнул – за ним начинал гоняться во сне Таранченко с кастетом в одной клешне, с обнажённым блескучим скальпелем в другой. Через всю Рос-

---

<sup>42</sup> Уйти в доски – умереть.

сию гнался! Загнал за Курилы на какой-то необитаемый островишко. Вот тут-то, на необитаемом островишке, и пал безоружный Менделеев. Таранченко одновременно ввалил в него кастет по пальцы и скальпель по верх черенка. Менделееву нечем было защищаться. Он мог лишь кричать. И он так реванул, что полдома вскочило на ноги.

Было это в четыре.

Менделеев вышел ко мне на кухню, мы просидели там до утра. Молчали. Косились по временам на рогатую лунёшку в окне.

Жар не падал. Надо что-то делать. С жаром не расшутись.

Гоню я Менделеева по вчерашним врачам. Он упирается. Не могу видеть эти похабные рожи, лучше смерть принять!

Ну, говорю, смерть принять никогда не опоздаешь, а сейчас пошли. Хоть температуру для начала точно узнаем. И силком потащил его в поликлинику, в процедуру.

«А-а! Вчёрашний симуляка! – хищно обрадовалась ему толстощёкая медсестрица. Так радуется сильно проголодавшийся людоед при виде сдобненькой жертвы. – Температурку? Давленьице?»

«Температуру», – буркнул Менделеев.

С ядовитой любезностью подала градусник, лежал в одинарку возле стакана с градусниками.

Менделеев положил под левую мышку по старой привычке левши.

Колода накрикнула:

«Под правую! Под правую!»

«А какая разница?»

«Под правую!»

Положил под правую. Сидит.

Старая засуетилась калошница. Подпекает её выйти.

Выскочила в коридор, налетела на знакомяца. Шепчет:

«Ты посиди у меня... Последи... Вчерашний охламонка меряет. Смотри орлом! Не нашшёлкал ба себе сороковик!»

Мужик примёрз плечом к дверному косяку. Тупо пялится на Менделеева.

Старуха живо брызнула через коридор в комнату напротив. Звонит. Трубку прикрывает обоими полешками:

«Виктор Ваныч! Виктор Ваныч! Прибёг учерашний козелок! Сидит меряе... Ага... ага... Всё как вы наказывали... Пускай сидит до морковкина заговенья и тридцать три у нас не высидит!.. Да не-ет... Это я так, разбежамшись... Сиди не сиди он, а градусы уже навечно готовы... Тридцать шесть и два... Не допёр глянуть. Так что всё по нашей по дорожке котится!..»

– Баечку травишь, Топа, – сказал Колёка. – Ну как ты мог слышать, что она там шепчет?

– А так и слышал... В поликлинике я превратился в невидимку, шлёпаю, куда хочу. Не мешай... Возвращается она в свой кабинетик. Берёт у Менделеева градусник.

«Еще рано, – говорит Менделеев. – Три прошло минуты...»

А надо десять».

«Кто это те сказанул – десять? Мы никогда по десять не даём. Неча тут расслаживаться. Не в Сочах на пляжу!.. Ежель есть жар, так он в минуту выбежит. А нету – и за год не прибудет. Давай, давай сюда скорее! А то ещё в промежность воткну те градусник. Капризы будешь дома откалывать!»

С кушетки я прыг на шкаф в углу.

И оттуда, сверху, строго:

«Гражданка! Вы почему грубите больному? Вы не замечаете, что за вашу грубость на вас покраснел ваш белый халат? И второе. Вы почему дали больному сломанный градусник?»

Старуха оцепенела с раскрытым ртом, вытаращилась на угол. Да кто там сверху ватлакает?

«Товарищ больной, – сказал я Менделееву, – посмотрите на градусник. На нём тридцать шесть и две. Проверьте».

Менделеев посмотрел на градусник.

«Верно. Тридцать шесть и две».

«У нас всё верно! – ожила старуха. – Нормальна температура. Нече дурака валять. Больничные за синие глазки не подаём!»

«Н-но в-вчера...» – заикается Менделеев.

«Вчера было вчера. Идите работайте! Не мешайсь!»

Я ей сказал:

«Разрешите молодому человеку взять из стакана наугад любой градусник. Пусть узнаёт настоящую температуру».

«У нас все градусники настоящие. Все одинаковые. Пере-

бирать не дам. Не на базаре. Я сейчас звоночек... Милиция живо покажа яму настоящу температуру!»

Я сорвался, ляпнул:

«Ну, медузолицая мадам Спиногрызова, если дело упёрлось в угрозу милицией, я вам скажу. Почаще трите заплывшие салом глазки».

Она пыхнула и тут же смяла злость. Любопытство взяло в ней верх.

«А зачем?» – смиренно так спрашивает.

«Бьёт по аппетиту... Меньше будете лопать, станете стройней велосипедной спицы. И когда будете тереть, не забывайте в мыслях твердить: «Аппетит нормализуется. Я буду меньше есть и больше двигаться». Психофизическая тренировка. Полезно...»

Когда мы уходили, гардеробщица – сроду не замечала Менделеева, – а тут деланно весело спросила:

«А чего это вы к нам участили, как на работу? Вечор были, нонь утречком понове?...»

На улице я сказал Менделееву:

«В этой поликлинике вас, молодой человек, заметили и сделают всё, чтобы вы были вечно здоровы. Отныне у вас постоянно будет тридцать шесть и две. Персонально для вас завели неработающий спецградусник. Даже умрёте, но если под мышку сунут этот градусник, он покажет тридцать шесть и две, и вам не подпишут отходной листок на право въезда в рай. Всю свою боевую рать вплоть до гардеробщиц Таран-

ченко кинул на вас. Какая честь!»

«Обложили заботой, как волка флажками...»

«Если вы здоровы в этой поликлинике, зайдём в соседнюю, где вас не знают. Там-то мы узнаем настоящую температуру».

Ровно тридцать восемь!

И тогда потащил я Менделеева в боткинскую. К специалисту. К пульмонологу.

Вышел от него Менделеев со срочным направлением на госпитализацию.

И пролежал – месяц. Ме-сяц!

– Эв-ва! – вскричал Колёка. – Какой гадкий пасьянишко!

– Вот тебе, друже, соль! Вот тебе клятва Гиппократа! Вот тебе доброта и внимание врачей! При тридцати восьми и четырёх закрыли больничный... А не закрывать надо было. А ле-чи-ить! Лечить!! Лечить!!! А они? Накарябали в направлении к психу про стойкую ремиссию и выметайсь. К психу! Что им какой-то Менделейка... Они статистику за счёт его здоровья ухорашивали!?

Колёка сморщился, как гриб при дороге.

– Топарио, ты перегибаешь, извини, палочку... Ну чего они да они? Ты чего обобщаешь? Да, мы обречены на участковы врачей. Однако не имеешь ты право так обобщающе лепёхать... У нас как принято? На первом месте исторические достижения. Налицо! Но, правда, кое-кто кое-где порой несколько, кажется, недорабатывает. Мягче. Мягче на пово-

ротах обобщений! Не можешь ты тарабарить обо всех врачах. Ты можешь поплакаться об одном Таранченке.

– Я и не махаю на всех. Но знаешь ли ты, что в прошлом году на врачей плесканули двести тысяч жалоб? Двести тысяч! Что, эти двести тысяч пропели осанну одному Таранченке?

– Ну... Одному не одному, но так лихо топтать родную медицину не могли. Да это что будет, потащи мы медицину по кочкам?

– А почему в медицине плохое нельзя называть плохим?

– А зачем? Наварец какой? Расшатаем авторитет врачей. Люди убоятся к ним ходить. Вообще перестанут ходить...

– Во-он куда ты гнёшь углы. Да не слишком ли заглянцевали мы врачей? Какую газету когда ни открой, сплошные уря-я-я! уря-я-я! Ну, кричи уря тому, кто заслуживает. Но почему молчок про таких, как *Таранченко*?

– Да напиши про такого, завтра к нему никто не пойдёт.

– И это плохо?

– Да уж чего хорошего?

– Нет, нет. Раскидаем по полочкам. Сейчас и хороший, и плохой обезличены. Едут в одном общем усреднённом вагонышке. А это уже ерунда. Всякому плата и честь по труду! По труду, зайчик! Мы только выиграем, назови хорошее хорошим и дрянь дрянью. При этом мы никак не расшатаем авторитет хорошего. Мы только его усилим. И поможем хорошему. Человек пашет, как пчёлка. Другой тянет в безделье абы

день до вечера. А зарплата одна. А почести одни. Разве хорошему не обидно, что в лучах его праведного, талантливого труда купается тупарь, лодыряка, хамло в белом халате? И вот люди узнают, кто есть кто. Что происходит? Они отворачиваются от плохого. Ну, кто?.. Ну, кому зудится заведомо рисковать своим здоровьем? Они валом – к хорошему! Вот и плати хорошему и за тех, что переметнулись от плохого, соответственно ужимай зряплату плохому. Неправильно?

– Правильно. Кстати, в Польше уже так и делают. Там больной может выбирать врача. Мы тоже можем... пока об этом читать. И у нас обещают... Уже великое дельцо, хоть открыто заговорили. Новый министр здоровья, умница, так в газете и сказал: «На всех заседаниях, собраниях мы с гордостью говорили, что у нас самое большое в мире количество врачей – один миллион триста тысяч. Недавно мы провели аттестацию трёхсот пятидесяти тысяч врачей. Итог наводит на грустные размышления: Тридцать тысяч из них, то есть десять процентов были аттестованы условно. Иначе говоря, они не могут считаться настоящими врачами. А тысяча врачей не допущена к работе вообще!» У этой тысячи отобрали дипломы. Во-он кто *пёкся* о нашем здоровьишке... Это страшно.

– Но разве могут все быть хорошими?

– А кто запрещает? Почему у плохого к самому себе нет зла? Он же гомо сапиенс. Человек! Сам себя спасай, лезь из дерьма. Ан нет. Пригрелся. Ему *там* хорошо. Ему *там*



нравится. Ему *там* выгодно. Ешь – потей, работай – зябни! И всё это за счёт больных? За счёт хороших врачей? За счёт государства? А я считаю, хватя красиво жить за чужой счёт! Вот теперь-то плохой и завертится. Или он ухватится за умишко, навалится подвышать свой класс, или, если он грубияшка, припрячет дурь свою, поприкусит язычок. А то эка раскуражились! По одной Москве не хватает десять тысяч медиков. Знают, никто их не тронет. Чего ж не откалывать шишки на манер Таранченки?.. Всяк на своём месте выдавай предел! Предел! Всяк!.. А то... Двести тысяч жалобщиков разве не этого требуют? К моменту, на торгашиков куда меньше настрогали жалоб.

– Ну вот! Ты уже врача и торгаша кинул на одну доску.

Хмурый Топа задумался.

– Да все мы, – вздохнул он, – стоим на одной доске. Только стоим, как говорится, неровно. Торгашик не успел обвесить на двадцать грамм гнилой морковки, как уже читает о себе фельетон в газете. Со скандалом торгошника уволят. Но вот эскулап исхитрился заслать здоровячка в морг – всё тихо-мирно списывается по негласной графе *утруска*. Если ты не понравился торгошику, большее, что он сможет, недодаст тебе пятачок или метнёт тебе погнилей картошки. Всей и беды! Но боись разгневить медика. С ангельской улыбушкой пропишет такой радости, что, может, сразу не откинешь лапоточки. Зато до-олго будешь сомневаться, что живёшь.

– Кончай поклёпничать! – Колёка саданул кулаком в ладонь. – Не смей и сравнивать врача с торгошом. Это оскорбительно!

– Для врача?.. А то его не оскорбляет, что перед операцией берёт расписку с больнуши? Прирезал и щитком-расписочкой прикрылся. Он был весь согласный на смерть! Я не виноват! Вот расписка! Да уже этой дурацкой бумажонкой он, хренов психолог, твёрдо укладывает человека в гроб! Ну к чему эти расписки? Не можешь – не лезь к страдалику с ножом. Отойди. Уступи могущему.

– Намолотил!.. На трёх возах не вывезешь! Да что тебе

операция – яблоки отпускать?

– И яблоки, и операция будняя работа. С тебя же продавец не вытягивает расписку, когда вешает тебе яблоки? А хирург...

– Сравнил хэ с пальцем!

– А почему не сравнить? Продавца готовят полгода. Чему же шесть лет учат врача? Работать бэз брака? Бэз?! Или брать одни расписочки? Совать, как Таранченко, больному кулаки?

– Их! Вельможной светскости захотел... Да ты представляешь, какие у них условия? По норме на осмотр больного отведено двенадцать минут. Тут и поздороваться некогда!.. Пашут, пашут... Как мышки сидят сутра до ночи! А ставки?.. Слёзки! Не мудрено, что здоровьишко укупишь только за мани-мани в платной поликлинике.

– Ну-у... Это ты с чужого голоса кукарекнул. Ты много накупил? Лично вот ты? В платной платят за то, чтоб аккуратненько, по кусочкам вырезали твоё здоровье у тебя же. А в обычной вам делают это бесплатно и по возможности сразу. Без митинга.

– Ти, – припечалился Колёка, – бесплатное лечение – это вообще дарёный коник, которому в зубы не смотрят.

– А пришёл час – смотрим! И вслух говорим: наше здравоохранение больно. Мы смело обскакали все страны по количеству врачей и теперь, как выразил скромное желание один проницательный, «хорошо бы отстать от них по количеству

больных». Увы, это отставание нам не по плечу. Поскольку мы наработали, вжались в высокий темп, мы, рапортово подсаживая себя в грудинку, летим попереди всех, и ничто не может нас поколебать. В душе мы не проть приотстать от самих себя, но уже ничего не можем поделаться с собой. Летим, по злой инерции летим вперёд. Вперёд! – это в нашей крови. А срезать ход, остановиться, оглядеться... Кто ж такую себе отвагу даст? Разве мы забыли, где у нас остановка? Разве мы уже там? Этого там нет в природе и не предвидится в ближайший миллиардишко лет. Точно! Песец этому там! Мы летели в никуда. И так гнали лошадей, так гнали... Всякий раз, как подумаешь о нашем неизменном движении вперёд, я не могу не вспомнить без содрогания бедного Менделейку...

– Слушай! – перебил Колёка. – А где этот твой геройчик схлестнулся с Таранченко? Из-за чего весь сыр-быр?

– У, завязь самая препустая... Посеял мой Менделеев больничный. Ну, с кем не бывает? Принёс из бухгалтерии бумагу, что больничный к оплате не представлялся. Ну и спускай команду, чтоб выписали новый. Так нет. Таранченко давай начитывать моральки. Давай воспитывать. Давай орать. Давай топать. Менделеев и отстегни вежливенько: «Что вы кричите? Чего притопываете? Себе ж в убыток... Голос сорвёте. Башмачки размолотите». – «А! Так ты ещё издеваться?! Ну! Я тя подловлю! Ты у меня, как воробей в кулаке! Я те покажу, почем сотня гребешков!...» Вот и показывает... И в эти свои показательные игрища впихнул весь свой на-

личный подотчётный штат. Особь пластались участковые терапевтихи. Ну как не подслужить начальничку-бугру? Одна подловила Менделеева так.

Был он на больничном. Дала ему талон на время, когда её в поликлинике уже не будет. Приходит он к талонному часу, её, понятно, нет. А на следующий день она всаживает ему в больничный неявку на приём.

Воссиял Таранченко. Срочно кликнул громко-показательную комиссию-суд над злостным нарушителем режима.

Еле отбарабанился Менделеев. Он же был в «прогульный» день на уколах. В процедурном всё зарегистрировано. И главврач исправила горячую запись в больничном. Обрезался наш Таранок!..

А ещё...

Это уже с бледноносой поганкой со щучьими глазками. С Шелгуновой Ириной Михалной. Была такая Ируся.

*Ируся, Ируся, в слезе*

*Гляну на тебя – обревуся!*

Только из института. Ещё горяченькая... Вторую работала неделю... Придёт к ней человек на приём. Из последних сил поклёпничает на своё здоровьишко. А она и не знает, какой тебе диагноз прилепить.

Одним ухом слушает, а сама – у неё в верхнем ящике стола лежал справочник, – а сама в лихорадке справочник ли-

стает. Шелестит, как мышь в копне! Ну, чисто тебе на экзамене. К твоим словам ищет диагноз тебе в книжке. Умереть мало!

Вот такая хирургесса за операцию возьмётся. Развалит страдалика надвое и бросит свои ножи-вилки. Присядет в уголке с книжкой! Надо ж почитать, что делать дальше!

И вот эта ненаглядная Ируся на второй неделе свой бледный нос повернула уже по ветру. Наверно, на этом ветру он облупился...

С больничным входит к ней мой Менделейка, а она вся из себя неприступная Брестская крепость, в спесивом пике: «Я не принимаю. Я на комсомольском собрании. Меня здесь нету. Я вся *тама!*!» – «Как же *тама*, когда вся *издеся*, – шает под неё Менделеев. – И времечко у вас рабочее... Собрание, небось, об улучшении обслуживания больных?»

Молодая да ранняя Ируся с жестоким насилием над собой запускает себя в гранд-истерику с участием слёз. Вот так, во мхатовских слезах, летит к Таранку, до смерточки пыжится в беге донести до него и не расплескать хоть напёрсточек дорогих слёз! И попутно скупое дезинфицирует коридор.<sup>43</sup> Пускай все, все, все видят, до чего довёл её больной дикарь!

Опять комиссия-суд.

Ну, про эту ты уже слышал. Это когда закрыли больнич-

---

<sup>43</sup> Луи Пастер (1822 – 1895; французский. учёный, основоположник современной микробиологии) «впервые обнаружил, что женская слеза убивает многие бактерии».

ный при температуре тридцать восемь и четыре.

Бедный мой раздушенька Менделеев... Эсколь вынес, эсколь претерпел...

Это ещё не всё. Вся гнусь впереди...

Значит, ломали, ломали его Таранок напару с Шубиной. Не ломается! И, похоже, запросили горяченького подкрепления. Вдруг моему Менделейке звонок:

«Это психотерапевт из 69-ой. У вас направление ко мне. Почему не являемся?»

«Не понял. Кто к кому не является? Вы ко мне или я к вам?»

«А вы сомневаетесь, идти не идти? Как видим, само ваше поведение однозначно. Идти! Да не идти, а бежать! И чем скорей, тем лучше! Вы направление читали? Чёрным же по белому: «Необходима консультация и лечение психотерапевта»!

«А разве я нуждаюсь в лечении психиатра? Я пока нормальный...»

«Хэх! Все люди нормальные. Только одни стоят на учёте, а другие – нет».

«Значит, берёте на учёт, ставите на свой баланс? Я так понимаю... Вступительная лекция ваша. А лечение уже Пети Кащенко?<sup>44</sup>»

---

<sup>44</sup> Речь о главной в стране московской клинической психиатрической больнице № 1 имени Петра Кащенко. Когда-то Кащенко был главным врачом этой больницы. Её телефон для желающих 952-88-33.

«На месте решим».

«Ну и решайте. Без меня. У вас какие-то дела с моей поликлиникой... Зачем я вам третий лишний?»

«Опять вы упорно подтверждаете, что вам с нами как можно быстрее нужно встретиться. Или вы хотите, чтоб вас силой доставили к врачу? Что вы ломаетесь, как та гордая девушка! Миром не отдамся, бери только силой!»

«Сексу не прикажешь. Увы, не я сказал».

«Будет вам сила. И прикажем. Не сорвётся!»

Минут через десять звонок уже в дверь.

Глянул Менделейка в глазок – так и присел. Два бизона под потолок! В белых халатах. Скорая?

«Кто такие?» – «По вашему вызову».

«Мальчики по вызову? Я не вызывал. Тем более сразу двух. Явный перебор. Ваши фамилии!?»

«Сидоров!» – дурашливо отстёгивает один.

Второй молчит.

«А второй? Иванов? Ищете третьего? Петрова? Я не Петров!»

«Значит, будешь Петровым! С тобой только что говорили по-людски. Но ты... Или сам открывай. Или мы, извини, ломиком поцарапаем тебе дверку».

Тут Менделейка хватает топор – под случай всегда стоял за вешалкой в прихожей.

У дверного глазка стучит костью пальца по топору:

«А я вам острым топориком без извинений развалю при-



чёски».

Тут один толкает второго вниз по ступенькам. Дуй в машину за ломом!

Что делать? Звать по телефону милицию? Пока приедет... Да кто и приедет? То ли чистокровная милиция? То ли к переодетым под врачей бандюгам прискачут такие же бандюги в милицейских фраках?!

Менделейка с топором на балкон.

Орёт во всю глотушку:

«Пом-могите!.. Ко мне рвутся переодетые под врачей скорой два бандита! Видите! – показывает на машину скорой у подъезда. Как раз второй отходил от неё к подъезду с ломиком. – В-видите!!? Это он идёт потрошить мою дверь!.. Сверху врачи! А нутро – бандиты с ломом! Пом-могите!.. Первый подъезд!.. Четвёртый этаж!..»

Что тут началось!

Лето. Предвечерний в солнце час. Весь народишко от скуки изнывал на балконах.

И тут такое сообщение ТАСС!

С балконов полетело в машину всё, что могло летать! Всё, что подскочило под осерчавшую руку. Старые, в ростках картофелины, лыжные палки, какие-то чурки, ржавые чугунки-сковородки...

Хрустнуло лобовое стекло. И народ, будто пришпоренный звоном разбитого стекла, хлынул в дом. У одного в руках кирпичина, у другого – полено... В минуту площадку чет-

вёртого этажа туго забило, как бочку килькой.

«Тов-варищи!.. Господа-а!.. Дамы!.. – запросили пардону белохалатники. – Что за военные сборы? Не мешайте, пожалуйста, медикам!.. Мы на работе! Как-никак...»

«Белый халат и ломик – это ваша работа?!»

«Не лезьте! От греха подальше!» – пригрозил ломик.

«Вот именно. Подальше!» – раздался твёрдый голос с площадки пятого этажа.

Все метнули туда взгляды.

Сверху на них деловито смотрело дуло охотничьей двустволки.

«С ломиком марш на улицу. И ждать, пока не подъедет милиция!» – велит из-за дула сосед сверху. А пальчик на курке! Нервный. Сердится.

И все разом поскучнели. Комедия кончилась так же быстро, как и началась.

Милиция взяла в конвой скорую. Поехали.

И Менделейка поехал. Тут же умчался к брату в воронежскую глушь. И полгода там отзвонил, пока не рассеялась чёрная тень психушки...

Горький горюша Менделейка... Я пообещал ему отомстить за слёзы его души.

И отомстил втэковцу Саранчуку. Так я звал про себя Таранка.

Я выследил, где он живёт. Самую больную вынюхал кочку.

Была у этого втэковца голубая холёная пуделиха. Не то

мать, не то тэща, этакая, правда, интеллиго вся из себя бабулька всё прогуливалась с пуделихой у груди.

Я бегал следом, бегал, только облизывался. Она спускала её с рук лишь у подъезда.

Раз я тихонечко следом, следом и незаметно юрк в их гнёздышко.

На кухне под столом тырк и вхулиганил пуделихе.

Вельможная бабуля мечется вокруг с золотым пенсне в руке. Ересливо причитает:

«Какая ты!.. Я только узнала!.. Путанка! Кому ж ты, извини, дала? Безродному кобелюхе! Кто ж теперь у нас будет?!»

Пуделиха визжит от радости.

А я отвечаю лениво. Однако с достоинством:

«Топа-младшенький», – и сановито удаляюсь прочь, куражливо помахивая хвостом.

– Ти! – хлопнул себя по лбу Колёка. – Фэйр плей! Справедливая игра! Как ты, милая косточка, благородно отомстил! Как благородно!

– Ну, – сконфузился Топа, – с благородным выбрыком поспешил я... Напрасно сделал втык голубой втёковке... Во все не той... Или всё же той?.. Напрасно огорчил бабку во все не ту!.. Или, может, именно ту?.. Мечь ослепила меня. Впопыхах обшибся я дверью... А может, и не обшибся?.. И вообще. Можно ли валить всё на одних врачей? Нельзя...

– Да ка-ак это нельзя? – гремит Колёка. – Не вешай, девичий пастух, хвост. Всё океюшки! Клык за клык!

– Я тоже сначала думал так. А потом открылось... Уже после выбрыка я задумался. Если в лето, в тепло у Менделеева никаких происшествий со здоровьем, то почему в холода накатываются на него все напасти? Все эти простуды? Все эти чихи?.. Стал я зорче смотреть, в чём это скачет в лихостные холода мой Менделеев, и открываю страшную штуку. Батеньки! Да у моего у Менделеева рваный сапог! Так со стороны вмельк глянуть – всё нормально. Пальцы, как воробьи, из сапога не глядят. Не-ет. А вот внизу, у самой у подошвы прорвалась молния – она была сбоку, – и когда он идёт, она чуть приоткрывает свой роток, хватает студёного воздуха и закрывается. Хватнёт и закроется. Хватнёт и закроется. Вода в сапог не заскакивает. Подошва из *манки* толстая, пальца в три, нога не мокнет. Но вечно в зяби. В надхолоди. Как же тут с простудой разминёшься?

Показал я Менделееву эту брешь в сапоге – он тебе чуть не в слёзы.

«Вот растрёпа! – костит себя. – Вот так растрёпка!.. Переученный... Рассеянный леший красноплеший... Ну надо! Не вижу, в чём хожу... Ну да с меня какой спрос? А что же разлюбезница моя, зла мельница? Что ж она не смотрит за мужниной обувкой? Только пёс и доглядел... Не нужен, не нужен я ей! Стопочка! – в минуту откровения он меня Стопочкой звал. – Стопочка, какой же я гореносец!»

«У тебя, – киваю на незастёгнутый на две пуговики верх рубашки, – и с рубашкой ералаш. Простудёхаешься!»

«А разве не простужаюсь?.. Да мы с нею одиннадцать лет одно небушко коптим... Вылил все слёзы... Не поверишь... Де-вять лет просил эту дикую барыню перешить верхнюю пуговку поближе к краю. За девять лет всё ж перешила... Туговато... Хорошо б теперь петельку накинуть... Два года тянула. Пришила петельку, да, – он отвернул ворот, – не с той стороны заехала... Вот и хожу весь навраспашку, открытый настезь всем ветрам, всем сквознякам. Ей-то что... Села умная голова, золотая макушка да и усвистала в командировку. Сейчас в Ереване... С кем эта чудь играет там в обнимашки? С каким-нибудь Нориком? С Мартиком? С Апрельком? С Февраликом? С Январиком?.. А можь, со всем «Араратиком»? А можь, со всем Ереваником?.. Пускай! Пускай! Это ей зачтётся в трудовой стаж. Ой как зачтётся! Красной впишется строкой... У Боженьки бухгалтерийка безукоризненная. Господь засчитывает всё! Ничего не пропускает!»

И верно.

Менделеиху тоже не пропустил.

Однажды мой Менделеев неожиданно вернулся из командировки, а у этой гульной коровы распяленный хахаль.

Заметалась, как кукушка в гнезде.

Что делать? Что делать?

И молит вавилонская блудница Бога:

«Господи! Сделай так, чтоб мой лапоть ничего не заметил!»

«Я сделаю, – отвечает Вседержитель. – Но летом ты долж-

на утонуть».

«Хорошо! Хорошо! – заравовалась Менделеиха. – Прекрасно! Я насквозь согласная! Лишь бы сейчас пронесло! Лишь бы мой бестаблишник ничего не унюхал!»

Всё обходится.

И вот летом Менделеихе исподтиха подпихивают в завкоме горящую шикарную путёвку на Чёрное море.

Её подкусывает поехать. А она боится умереть.

Но всё же море! Море! Да ещё Чёрное! Да ещё в августе!

В дрожи берёт она путёвку. Говорит себе:

«Я поеду. А купаться не буду. И не утону...»

Она шила новую юбку и битый век сушила голову, где ж сочинить разрез. Развали сбоку – ни себе, ни людям. Разрез сзади означал «следуйте за мной!» Что-то попрошайское... И трудный её выбор пал на глубокий разрез спереди «Я вся ваша!»

Сначала она не купалась.

Потом стала украдкой полоскаться у самого у берега, где раку по сраку. Мелко так, даже раку не утонуть.

На привязи у берега напаласкивалась она недели с две, как вдруг объявляют морскую прогулку на роскошнейшем лайнере.

«Не будет же *Он* из-за меня одной губить столько народу да ещё такой огромный корабль впристёжку,» – успокоенно думает Менделеиха и отправляется на прогулку.

На корабле танцы. Народу невпроход. И одни женщины.

Выходит корабль на середину моря и вдруг при ясном солнышке раскалывается на две части.

Менделеиха на колени. Горячно умоляет:

«Господи! Ну зачем ты из-за меня из-за одной?.. Из-за одной губишь столько народу!»

А Верховный отвечает:

«О, если бы только из-за тебя одной... Я ж вас, вавилонских блудниц, по всей земле по одной собирал целых десять лет!»

– Ай как умно! Ай как умно! – запрыгал Колёка на койке. – Слава Предвечному! Нету больше Менделеихи!

– Да нет, – говорит Топа. – Не стало Менделеева. Как только узнал про странную катастрофу, тут же умер... Любил как... И минуту без неё не прожил...

– Из-за какой сучары сгиб человек!.. Ну да уж и то навар, что хоть и её не стало. Я б такую сам задушил!

– В том-то и соль, что Менделеиха одна на весь корабль осталась в живых.

– Чего ты мне лапшичку на уши кидаешь? Ну чего?

– И не думал. Жива... Да... И живёт в Ялте!

– Адрес! – взревел Колёка.

– Вот этого я тебе не могу сказать.

– Тогда это были твои последние слова!

Колёка стал его душить.

– Не души, звероящер. Скажу... Разве я не помню адрес Капитолинки? И своей, и твоей хозяйки?

– Ка-пи-то-ли-на?! Наша А-Капелла?.. Не верю, шустряк! Опять лапшичка! Что ж она, с середины моря доплыла?

– На мне... На мне доплыла до Ялты... Она и самого Боженьку обвела... Она знала, что Боженька никогда не обидит животное. И на море поехала со мной. И купалась вдали ото всех со мной... И на прогулку взяла... И ни на миг не спускала с рук... Когда мы очутились в воде, я оказался под нею. Боженька пожалел меня. Дал выплыть... А она плыла на мне...

– Ну, мы ещё стакнё-ёмся с этой с русалочкой! Она у меня попляшет лезгинку на раскаленной сковородушке!.. Я не Боженька. Я не ты. Я – Колёка! Меч, карающий неверных жён! Всяка сучонка знай свою конурёнку!



# 19

*Отдых на море укрепляет здоровье, но  
расшатывает мораль.  
Джангули Гвилава*

Единственную комнатку снимали у Капитолины три шнырика.

Сама она летом жила на кухне.

В назначенный день парни не уехали. Сказали, что не успели добыть билеты. Напросились ещё на три дня.

Убежали и эти дни. А с ними и парни. Уёрзнули впотаях. Не заплатили за продлёнку.

«Зевнула... Учу, учу себя и всё никак не научу, что бабульки надо брать вперёд!..»

Расстроенная Капитолина вбыструю глубоко и всесторонне убрала в комнате – по обычаю, убирала она комнату жильцам всего-то один раз, перед вселением, толкнись те хоть на неделю, а хоть и на весь месяц, – и уже в сумерках шатнулась в сарай.

Вся наша троица лежала без огней. Затаилась. Думала, что это сам контроль грядёт.

– Напугались? – хохотнула Капа. – А это всего-то лишь я... Остонадоело. Ох и остонадоело вам в сарайке! Утром до семи сгинь. Вечером раньше ночи не возникни... С чёрто-

вым контролем не подерёшься. Не даёт отдыхающих по сараям рассовывать... Ну да что было, то сплыло. Переезжаем, мирянчики!

Бабка с Алёнкой хрюкнули на восторге, с пустыми руками шебутно кинулись в комнату. Главное, ухватить лучшие койки, а переправить чемоданики можно и потом!

Колёка сразу взял всё своё. Два пузырька календулы, один уже наполовинку пустой.

Левая рука была у него свободная, и во дворе он подхватил кошку. Чёрной, разморенной ветошкой валялась на ступеньках.

Всё-таки новоселье. Кошка должна первая войти в дом.

Колёка обогнал Капитолину. Мягко стряхнул с руки кошку на порожек.

Кошка тут же меж ног выбрызнула на улицу.

А тем временем бабка с внучкой уже подскакивали на самых больших койках. Кричали в один голос:

– Это наши! Это наши! Мы от дядь Коли никуда!

– Нет, – сказала Капа. – Дядь Коля один будет в этой комнате. А вы, зайчики, сдайте назад. На веранду.

В Ялте почему-то прихожую называют громко верандой.

В прихожей была одна съёжившаяся коюшка, задёрнутая цветастой ширмой. Бабка с Алёнкой убито поскреблись за ширму.

– Не врублюсь никак... Не понял юмора... – пробормотал Колёка. – Три койки... Что... Зачем мне одному такая хоро-

мина?

– Большому кораблю – большое плавание! – Капа задрала голову и не могла оторвать восторженных, горячих глаз от двухметрового Колёки. – Не переживай. Знай плавай!

Новоселье надо обмыть, подумалось Колёке.

Потирая руки, дураковато гаркнул враспев:

*– Что-то ветер ду-ует в спину,  
Не пора ли к маг-газину?*

Он выскочил.

Скоро вернулся с вином и кое с чем к вину.

Потряхивая бутылку, ударился в речи:

– Ну! Выпьем за то, что, несмотря ни на что, мы пьём во что бы то ни стало!

При вине Колёка угарно чумел.

Уже через полчаса смахнул с себя рубаху. В майке выка-  
тился во двор. С приплясом ересливо прошёлся под окнами:

*– Я с-свою соперницу  
Отвезу на мельницу.  
Измелью её в муку  
И лепёшек напеку!*

Будто ветром захлопнуло все расплёснутые настежь две-  
ри. Кое да где погас свет. Помертвели окна.

Колёке тесно на земле.

Возложил лапищи на край кухонной крыши. Поднял себя на крепких хваталках. Эффектно вспрыгнул на крышу.

Больной кураж подпекал его. В пьяном пике наладился он отбивать чечётку – рухнул в тартарары.

Выполз опять в только что проломленную в шифере дыру. Помято сел на загоравший на крыше перевернутый бесхозный старый унитаз.

Выдержал с достоинством паузу, выкинул вождисто сановитую руку. Подмыло с подвоём читать стихи.

*– Сижу я один  
На краю унитаза,  
Как горный орёл  
На вершине Кавказа!*

Громогласного Колёку слышала улица. Полилась во двор.

Въехала за компанию и хмелеубочная. Дежурный милицейский луноход.

Хмелеуборочная остановила свет на Колёке.

– Ти... За подсветку благодарствую! Но где долго не смолкающие апло... дис... мэнты, не шутя переходящие в бурную, извините, овацию? – вставая, поджигательским голосом спросил Колёка.

В следующее мгновение двое из толпы бережно опустили Колёку в руки ментозавров. Те бережно повели его к машине.

Встречно открылась дверца.

Её чёрный простор закрыла собой, крестом, раскинув руки, Капа. Невесть откуда и выдернулась!

– Н-не дам!.. Н-не позволю!.. Т-только ч-через м-мой т-труп-п!..

Усталый голос из машины:

– Берите и труп. В аквариуме<sup>45</sup> места хватит и этой рыбе.

Из недр машины её вежливо приняли под мышки. Осторожно втощили на крайнее сиденье.

В луноходе Колёка как-то разом сварился.

– Не м-могу... Спать хочу... Голова в штаны падает...

Он заметно сбросил куражливые обороты. Еле выбормотнул:

– Зоркость глаз и твёрдость духа

Придаёт нам бормотуха-а...

И всё. Заснул. Как отрубил.

В отделении, как ни тёрли ему уши, как ни трясли – не проснулся.

– Не тиранствуйте над человеком! – всплыла на дыбки Капа. – Я от-т-твечу... Ну... Врезались в винишко... Ну и что? С горя, граждане! У меня горе на горе намазывается... Как масло на хлеб... Горе на горе... Горе на горе... Отдыхающие-здыхающие сбежали и не заплатили... Крючки... Ну не

---

<sup>45</sup> **Аквариум** – помещение для задержанных в милиции.

горе?.. С горя съездили в Бухару...<sup>46</sup> Приняли маненько...  
По красенькой на носик...

– Оч-чень мало... Ваше имя, отчество, фамилия?

Сказала.

– Адрес?

Подвигала плечом:

– Крым!

Показали на Колёку:

– А он где живёт?

– У меня на квартире.

– Кто он вам?

– Кто же... Квартирант... Не верите? – Капа живо-два подняла Колёку в ранге: – Н-ну... муж... Муж! Муж вас устраивает?

Их оштрафовали на сто рублей и отпустили.

Была уже глубокая ночь.

Город спал. Спало и море; сонно ворочалось у берега чёрным медведем.

Долго брели они молча. Тупо пялились под ноги.

Первым не вынес молчанку Колёка. Понуро глянул на худую слепую луну-беспризорницу с острыми рожками. Постно приобнял за плечо Капу.

Капа не воспротивилась.

Колёка тоскливо зажалобился:

---

<sup>46</sup> Съездить в Бухару – напиться пьяным.

*– Весь город спит.  
Не спит одна тюрьма,  
Она давно проснулась.  
И больно, больно сердце заболит,  
Как будто к сердцу финка прикоснулась.*

Дёрнулась Капа, сошвырнула с плеча его тяжёлую прохладную руку.

– Закрывл бы свою пустоговорилку... И чего нести такую бурость? Где сору-то этого насобирал? Откуда у нас тюрьма?

– Всё равно это дело не меняет... Накрыть таким наглým штрафом... Чтоб я ещё хоть разок покеросинил?.. Ни-ни! Ни каплюшки! Отныне у меня неизлечимое ОРЗ!<sup>47</sup>

– Обещаешь ты горячо-о... И на том спасибо.

– Пожалуйста! – в поклоне приподнял Колёка воображаемую шляпу. – А я с претензией... Удивительное у вас отношение к почтенным гостям города... В трибунал мчали с комфортом на персональном везуне... Накололи на стольник и шварк на улицу. Ни хераськи себе! В глухую ночь на одиннадцатом номерке чеши до хаты. Никакого почитания!.. За собственную стошечку! Так лопухнуться... Ну да обезьяна тоже с дерева падает...

– И часто? – подкусила Капа.

– Разно...

– Не пойму... Лукавый ты или с бусырью?

---

<sup>47</sup> ОРЗ – Очень Резко Завязал.

Колёка повинно усмехнулся:

– Помесь я, помесь, Капи.

– Спасибо за откровенность. А я, кулёма, всё думаю, что это на него ментура действует, как самое крепкое снотворное. Как всунули в воронку – сразу погасил фары<sup>48</sup> и отбыл в храп. Никакими пушками не разбудить!

– Никакими! Уж если подался я в Сонино, так это прочно. Лев спит по двадцать часов в сутки. А я могу все двадцать пять!

– Уда-арничек, уда-арничек... А я сегодня с прибытком... Те купоросные черти умкнули двадцать семь рыженьких да ещё родная ментовня на сотняжку впридачу натолкалась. С прибытком, с прибытком...

Колёка ухватил, что штраф Капа полностью берёт на себя, и благодарно пришатнулся щекой к её виску:

– Не горюй... Не сорок первый... Переживём. Не всё счастье в осликах!<sup>49</sup>

– Ну а без осликов кто-нибудь доезживал до счастья?

– Дохаживал! – дуря подкрикнул Колёка и свернул в свой двор.

Во дворе Капа пошла к себе за белую, простынную ширму под кухонной крышей. Пошла вызывающе спокойно, будто была одна, даже не повернулась в улыбке, которую ждал Колёка, даже не махнула в прощанье рукой, даже не сказала

---

<sup>48</sup> **Погасить фары** – закрыть глаза.

<sup>49</sup> **Ослики** – деньги.



стёртых обязательных при расставании слов.

Это резануло Колёку.

«Ладноть. Ты мне... Ищешь на грош пятаков? Цену набрасываешь? Набрасывай! Тебе ж, сексокосилочка, и платить! Всяка кошка скребёт на свой хребёт!»

Он ладился не разбудить бабу с внучкой.

Узко приоткрыл дверь. Не дыша вжался в прихожую.

Постоял, послушал, как жертвенно вздыхала во сне бабка; философски подумал, если уж вешаться, так на толстом, на высоком дереве и на цыпочках втихаря подрал за белую ширму под кухонной крышей.

– Ты чего, двубровый орёлик,<sup>50</sup> здесь забыл? – вшёпот насыпалась Капа, обстоятельно подтыкая простыню под свои круглявые, как поварёшка, бока. – Давай-но, давай отсюда!

– Не могу я давать отсюда... Ти... Я даю только сюда... Разве руки гнутся от себя, а не к себе? Особенно, когда орехи звенят!<sup>51</sup>

– Какие ещё орехи?

– Грэцкие! – хохотнул Колёка. – Извини, Капи. Но тут я по праву мужа.

– Как-кого ещё мужа?

– Того самого, про которого ты самому трибуналу докладывала.

– Так ты там не спал? А чего ж молчал как партизан?

---

<sup>50</sup> Двубровый орёл – Л.Брежнев.

<sup>51</sup> Орехи звенят – о чём-либо сильном сексуальном возбуждении.

– Ти... Это моя маленькая хитрость. Без хитрости мир бесполезен... Как это народная мудрость гласит? Кажется, «нормальные герои всегда идут в обход»?.. Я и пошёл... Был гадкий неподходящий момент... Такое дельце лучше заспать. И я его заспал.

– Опаньки!

Она в сердцах шлёпнула его по щеке:

– Так бы и размолотила твою сучью будку! Но погожу... Может, ещё сгодишься в хозяйстве... Ой, гумозей, ты и ловчила! Ой и ловчила!.. И без кровельных работ<sup>52</sup> до этого додумал?

– Без...

В дальнем сарае брякнула щеколда.

Сейчас какая-нибудь сонная тетеря порысит мимо в уборную. Увидит! Разнесёт по всему двору ещё в затеми! Карга ещё дерьма не клевала, а про нас трубы уже поют!

Капа стукнула Колёку в колено.

– На секунду приляжь, чимчигрыз!<sup>53</sup> Ух и чим...

Колёка запечатал ей рот поцелуем... и проснулся уже поздним утром и то лишь оттого, что кто-то спросонку развесил на его палках ног, далеко торчавших меж прутьев койки под кухонной крышей, сушить холодные плавки.

«А-а! Заступиться вчера перед ментами их нету! А плавки на мне сушить – пожалуйста? Делать из иглы верблюда?»

---

<sup>52</sup> **Кровельные работы** – психиатрическое лечение.

<sup>53</sup> **Чимчигрыз** – китаец.

Он с чувством скovyрнул плавки на асфальт. Выглянул из-под ширмы.

Капы не было. Где же она? Вот здесь же лежала, куда сбегала? На работу? Умнёшка, умнёшка... Моя женьшеничка добывает на прокорм. Мужилка честно помогает есть. Чёткое распределение обязанностей! Всё путём... Всё в духе веяний дня...

Колёка блаженненько потянулся на хозяйской койке. Прислушался.

Шаги.

Нарастают.

Топают целое стадо.

Шатнулась ширма.

Капа забежала за неё, плюхнулась Колёке на ноги.

– Малышок! – защебетала птичкой. – Хотя в тебе и два метра счастья, но для меня ты отныне малышок, мой «мужчинчик со знаком качества»... Малышок, я вчера ляпнула в хомутке не подумавши... Про мужа... Кажется, ты ухватился... Факт свершился. Мы муж и жена. Почти... Поскольку люди мы деловые. Не можем при наших вчерашних прогарах терпеть дальше убытки. Как порядочный муж ты спишь при жене. Здесь... Под ширмочкой. А комната пустует? Вот этого не надо! Природа не терпит пустоты. А разве мы глупей природы? Никакой нам пустоты не надо! Совсем не надо!.. Ясненько? Усвоил?.. Поэтому я чуть свет слетала на троллейбусную станцию, приплавила квартирашек. Целую троицу! Ни часа простоя! Это мой девиз... Счётчик самодуром мотает нам капиталики... Живые... Ослики бегут к нам... Бегут...

– Ти! Пускай бегут! – согласился Колёка. – Ворочать и не подумаем!.. Некогда! А я, баран, чего думал?.. Вот баран! Ты моя жёнка... Так как зовут жену барана?

– Ба-а-а-а-ра-а-а-а-не-е-е-ес-с-с-са-а-а! – проблеяла Капа, закрывши лукавые глазки.

– Поёшь, как София Гитару!..<sup>54</sup> Хорошо зовут!.. Баранес-са!!! До чего ж ты у меня вся круглявушка. Сдобная... Как баранка! Так бы ел, ел, ел без перерыва на завтрак, на обед и даже на ужин...

– А ты, малыш, ешь. Не стесняйся... В рост успел выскочить, а вширку не дали разбежаться. Куда только и смотрела Софья Власьевна!?<sup>55</sup> Совсем же заездили чёрного коммунарика...<sup>56</sup> Такой весь худышка... Будто на тебе там пахали по сорок часов в сутки...

– Всяко бывало! – уклончиво пустил Колёка. – Крутился на одной пятке... А благодарность? За всю жизнь и разу не дали даже тэтчеровского<sup>57</sup> завтрака! Вечно сидел на бухенвальдском паёчке...<sup>58</sup>

– Люлечка! Глубоко наплюй и забудь. Кончилась твоя каторжанция! Отныне и тэтчеровский кофеишко, и оскорбительную кислоту, то есть витаминчик С и прочее мясце будешь получать у меня прямо в кроватку! В конце концов, ты в Ялте. Курортяра ого-го! Тут все отдыхают! Ты... И ты как все... Отдыхай круглосуточно и круглогодично. Только не забывкивай, пролетарский болтик, про свои сладкие обя-

---

<sup>54</sup> **София Гитару** – певица София Ротару.

<sup>55</sup> **Софья Власьевна** – советская власть.

<sup>56</sup> **Чёрный коммунар** – колхозник.

<sup>57</sup> Тэтчер Маргарет Хилда (род. 13 октября 1925 – 8 апреля 2013) – премьер-министр Великобритании. Её завтрак обычно состоял из одной чашечки кофе и одной таблетки витамина С.

<sup>58</sup> **Бухенвальдский паёк** – о скудном питании.

занности... Ладненко, мой половой гангстер? Скоро и ты у меня выкруглись, как я... На душе, малыш, рай... Я в отпаде... Воистину, замужня лягушка и море переплывёт!

Сиропное плетение словес ложилось ему на душу подорожником.

Желая набавить себе значительности, он мягко и вместе с тем строго, почти клятвенно возгласил:

– А работать я буду, крокодил меня без соли съешь! Не собираюсь я тут торговать загаром на пляже... Я уже ломом ломлю. Мысленно! И в таком русле... Надо нам ухорошить обряд разлучения квартирантов с тити-мити. Надо сделать его изячным, напористым, утончённым. Этаким молниеносным фейерверком! Ты, Капушка, не обижайся... Ты ввела в абсолют... Ждёшь, пока тебе сами поднесут. А разве вымерзли забывчивые? Вон вчерашняя пьян кудрявая... Лихо подколола! И пойди пожалуйся... Сначала найди их. А где искать? Ка-ак искать? Я вношу рацпредложение. Уговорились: в час заезда манюшки на бочку! Все! По час отвала. И ты спокойна... Для полной красочности обряда в нём пока не хватает меня. В тот момент, как ты запеваешь о тугриках, я, этакий ковбойка, этакий супер-гагантик весь в коже, весь на кнопках, на молниях, на заклёпках, в шляпэ с загнутыми полями, подкатываюсь небрежной, слегка развинченной походочкой, становлюсь позадь тебя, опускаю лицо к твоей русявой головушке и счастливо так провозглашаю: «Вас приветствует солнцеликая Ялта!» Потрясная картиночка!.. Вряд

ли у кого качнётся гнилая мысляха не выдать тебе сразу всё под полный расчётишко. А отдавши, может и не залетать на ночь. Это нас не колышет. Платить оно всегда как-то неинтересно. Убыточно. Вон бабайка что молотит: «У моей у товарки дочка в Москве. Однокомнатная квартира. Плотиють государству всего ничего. А Капка с меня с Алёнушкой – одну койку занимали у сарае, тепере в прихожалке тож мнём одну, – а Капка *за одну ночью* лупя с нас, лихоманка тя подхвати, те жа деньжонки, что в Москве за цельной месячок!! Тут за ночь, а там за месячок!!! Так то ж Москва! Учти!»

– Оха-оха-оха! – набутусила Капа губы. – Мы про людей говорим, а они ночей про нас не спят... Ну и везла б свою астму в Москву. А то что-то припёрла сюда. Всё с неё толсто берут... Конечно, в дорогу на тот свет пиастры тоже нужны... Всё! Я эту бабку с внучкой сегодня же выстегну из своих хоромов!

– Ну-ну! Зачем же так крутко?

– Пускай не таскает про меня грязь по двору. Пускай наищет себе бесплатную квартирищу! Всё! Бабкин вопрос закрыт. Завтра её тут не будет! И больше об этой бабке ни звучика! – властно пристукнула Капа ладошкой по столу. – Вернёмся к своим бараньим делам...

– Капуль! Да ты что? И старуху жалко, и внучку... Потерпи, милушка... Я больше тебя ни о чём не буду просить... А тут жалься, радость ты моя всепланетная...

– Ну, разве что ради тебя... Ладноть. Пусть пожуют ещё

моей доброты. Потерплю какие тут две недельки... Вернёмся к своим колючкам... Ты, малыш, безразговорочно прав. Обряд надо срочно менять. Хватит ронять угольки себе на ноги.



Целыми днями Колёка прел на кухне.

Нет, не ел он целыми днями. Целыми днями валялся он на кушетке под телевизором. Воистину, «хорошие мужики на дороге не валяются. Они валяются на диване».

Смотреть телевизор стало для него обязательным как работа. Если вы приходите к себе в должность, скажем, к девяти, то у Колёки она начинается на два часа раньше и без выходных. К семи он уже выбрит, умыт, торжественно сыт.

Включает, ёрш держит вперёд.<sup>59</sup>

И только взаполночь подчинится грозно мигающему из самой из Москвы приказу «Не забудьте выключить телевизор!» Выключит уж. Сделает одолжение.

По двору прошелестел слушок, что Колёка помешался на телевизоре. Так Колёка чуть было не умолотил в гроб соседа. Не пускай опрометчивую молву!

Драчливый Колёка не может без синяков. Как без медалей.

Тут его не удержало и то, что он без прописки и нигде не работает.

Все почему-то считают телевизор бездельем, в стаж в трудовой не вписывают. Это, думает Колёка, полнейшее безоб-

---

<sup>59</sup> Ёрш держать вперёд – важно держаться, зазнаваться.

разие. Ну ведь сказано же: «Если зажигают звезды, значит, это кому-то нужно».

Тянем параллель.

Раз по телевизору вам показывает сама Москва, значит, это тоже кому-то нужно? Нужно! Обязательно нужно! А как же?!

Иначе что же будет, кинься все врассып кто куда по так называемым работёнкам, а к телику к семи ноль-ноль никто ни ногой?

А на что ж тогда старается-показывает сама Москва? Для кого бьётся? Неужели это никому не нужно?

Выходит, Москва не знает, что делает?

Звёзды зажигать надо. А святое слово Москвы слушать не надо?

Концы с концами не состыкуются...

А вдруг там что-нибудь да такое? И ни одна холера не знает!

Колёка жертвенно смотрит за всех от и до. Пока из самой из Москвы не прикажут отключиться.

И из всех этих смотрин он вылавливает себе порядочную пользу.

Не давится в автобусе.

Не занимает где-то чьё-то место. Может быть, именно ваше.

Вам на вашей работе платят, а Колёка корячится на кушетке безвозмездно. Как это со счёта столкнёшь?

Да, работёшка тягостная, утомительная, на полный износ. Даже порой некогда сбегать сменить воду в аквариуме.<sup>60</sup>

Но он не бросит такую работу, будет продолжать вкалывать как сто китайцев. Он злой патриот своего теледела.

И сам по себе разговор о любом прочем занятии он считает просто надуманным, непристойным.

Его раздражало, что в ряду кухонек одну комнатку, крайнюю, оккупировало бюро по трудоустройству.

Народище волнами хлещет туда-сюда, туда-сюда.

Ну, чего шлѐндать? Сиди дома смотри, припнись к делу. Так нет, им прижгло в бюро бежать.

Въехал он в каприз, по ночам вывешивал у входа во двор объявление «*Бюро переехало*» и гнал-показывал стрелкой в сторону моря.

Однако народ всё равно валил именно сюда, валил, валил.

Смирился Колёка с этими толпами во дворе. И всё ж он этим бродягам подсоллил. Не мешай спокойно смотреть! Сбегал в телеперерыв в гравировальню, вернулся с роскошной дощечкой

***КАФЕ ЗАКРЫТО.***

***ИЗВИНИТЕ,***

***У НАС УЧЕТ.***

Навесил на двери уборной, и народишко, что подлетал к ней, ещё сильнее зажимал кулаком в себе горячую точку и

---

<sup>60</sup> Сменить воду в аквариуме – помочиться.

мелкой, извинительной рысцой потешно перебегал в соседний двор.

Иногда днём, опять в телеперерыв, Колёка утягивался в город подвитаминиться. Рвал инжиры, что свисали на тротуары из-за оград.

Ему нравились подвяленные, сомлелые на солнце инжиры.

Любопытная кадриль.

Пока плод зелёный, он стоит на веточке прямо, как свеча, а созреет – свисает набок, вянет и всё больше напоминает уполовиненный бурдючок с вином.

Щедрое южное лето отпылало. Сонно, незаметно слилось и пол-осени.

Ушло тёплое солнце. Разъехались отдыхающие. Городок как-то ужался. Посмирнел. Попритих.

Наконец-то Колёка с Капой перекочевали из-под кухонной крыши в дом, в свою единственную комнатку.

Казалось, радуйся-цвети, ан на́!

Поймала воробушка, забеременела Капа. Засобиралась в больницу.

– На разминирование<sup>61</sup> отбываешь, – затужил Колёка. – Тебе-то там помереть не дадут. Накормят. А я как? Подыхай?

– Не паникуй, неумейка. Не переживай. Я выписала тебе, утюжок, из заморья первоклассную повариху. Сегодня вечером к тебе припожалует чудненькая девочка Ласка. Пятнадцать лет... Здоровски готовит...

– Это действительно чудненько... Только имя какое-то... Не нашенец.

– Понятно, не твоё. Болгарское... Ласка... Что ж странного? Вот отца моего звали – натошак не выговоришь! Родился вскоре после революции. Время энтузиазма. В чести

---

<sup>61</sup> Разминирование – аборт.

были Вилен, Виленин, Вилор, Ким... Мой – Гоэдро... Капитолина Гоэдровна Пышненко. Эту свою девичью фамилию в замужестве я не меняла. Всю жизнь я Пышненко. Звучит?

Колёка умученно улыбнулся. Подумал:

«Пока эту ночную соску обойдёшь, бублик съешь...»

Спросил:

– После рогачиков дня три прокантуешься в больнице?

– Не больше.

– Не залёживайся там... А то мне одному... Подумал:

«Хоть садись на диету соус дроче<sup>62</sup>!» А вслух спросил: – И у кого ты на этот срок арендовала эту приходящую нянечку Ласку?

– У себя... Моя дочка...

Колёка отшатнулся.

– Дочка?! Не надувай уши ветром... И ни разу не сказала?

– А что говорить, когда нечего говорить? У меня их двое аж... Родик в Таганроге... В техникуме... Мальчуга с задачей...<sup>63</sup> Лето отжёл у друга в деревне. Из деревни снова катнулся в техникум... Ласка здесь. В училище. Старательная, как пчёлка... Живёт у тётки. Тётка не сдаёт углы. У неё по-свободней. Там и толкётся в трудах лето-осень...

– Ребятёжь-то папаньку знает?

– Ой, спросишь... Знала б хоть маманька! – в смешке отстегнула Капа и покатила с наговором на себя: – Этих без-

---

<sup>62</sup> Соус дроче – онанизм.

<sup>63</sup> С задачей – хитрый, скрытный.

домных купоросных активистов навродь тебя эсколь за сезо- нишко проскакивает?.. Ты ему угол за трояк на ночь, а он те- бе целое дитяtko навеки... Ой, дурёка, болтай! Разводи хлё- бово боле... Чего под случай не наплетёшь на себя и под се- бя... Ну, наварила чепухи на постном масле! Хватя... А то понравилась игрушка – бить лбом орехи... – Капа помолча- ла, вздохнула. – А девулька у меня серьёзная. Не набалован- ная. Вся в отца. В Менделейку...

– Слушай! А как ты со своими Лаской да Топой очутилась в Ялте?

– Ну-у... Случай подвёз! Ухохочешься. Как-нибудь под момент расскажу. Но не сейчас... Слушай про Ласку. Это важней... Девочка не набалованная. Не на что да и некогда было баловать. Откровенно, Ласка не знала детства. Жила больше на воде... Единственная игрушка у неё была связка бигудей, всегда полная моих волос... А вот выросла. Учит- ся, работает... Дожила б до возраста. До взрослого ума без беды... Каюсь, прятала от тебя... От бомбардира... А вот по горячей нужде оставляю вас двоих под одной крышей... Оха... Ты от беды ворота на запор, а беда через забор... Не обидь... Будь человеком. Не обидь... Ведь что ты ешь, за- рабатывается и её честными детскими руками. Не обидь... У тебя у самого дочки... Понимай... Я мать... Учую если что... Ну, заглянул ты в моё лукошко,<sup>64</sup> всю теперь меня зна- ешь, как свою руку... Смотри... если что... Не знаю, что и

---

<sup>64</sup> Заглянуть в лукошко – узнать о ком-либо самое сокровенное.

сделаю с тобой... Не обидь, малышок...

Капа показала Колёке карточку дочери.

– А я думаю, – грустно сказал Колёка, возвращая карточку, – как бы она не обидела меня самого.

– Это как? Туману подпускаешь.

– Это я и себе не объясню...

Колёка боялся этой девочки. Боялся её молодости. Боялся её свежести. Боялся её радостной неотразимости. Он не мог понять, почему он стал её бояться, едва увидев её фотографию. Он ещё не видел Ласку вживе. Но уже боялся и ничего не мог с собой поделать.

Проводил он Капу до больницы и тут же вернулся.

Синяя дверь их кухни была до пятки открыта.

Он вошёл.

Он увидел её – она чистила картошку – и понял, чего он так боялся. Она была так красива, что он замер с широко раскрытыми не то страхом, не то изумлением глазами.

– Что вы так смотрите, дядь Коль? – простодушно спросила она. – Глазики не выроните?

У него хватило сил заставить себя насупиться. Он подрубленно сел на кушетку.

– А-а! Вам ску-ушно! – весело сыпнула Ласка. – Ну, тогда развейтесь. Гляньте...

Ласка показала на газету, лежала возле Колёки на кушетке. Он развернул газету. Брошюрка.

– «Профилактика стресса свиней при их перегруппиров-



ках и перемещениях», – еле прожевал он название брошюрки, и мрачность его несколько убывла. – Интере-есненько... А автор кто?

– Эм Луговой. Вот же на обложке! А гляньте, что стоит в скобках на последней страничке.

Колёка перекинулся в конец.

– Хэх!.. Луговой – псевдонимко. А настоящее имечко в скобочках уморное... Ферштейн Мойше-Дувид Иойнов-Янкель Мисаилович!.. Мне картошки дашь добавку. Не евши прочитал! Последнюю положил силу на что... Тэкс... кэкс... Тебе что, хрюшкины стрессы по ночам пятки щекочут и спа-тушки не дают?

– Да ну!.. Эти стрессы мне в нагрузку пихнули... Бегу по команде к вам. На лотке моя мечта. «Легенды Крыма»! На литкружке мне докладывать о крымских легендах и на! Ле-жат!

Колёка раскрыл книжку легенд.

– На восемнадцатой «Как возникла Ялта». Наша Ялта! Прочитайте.

Колёка послушно пролистнул несколько страниц.

*«В далекие времена, – читал он, – из Константинополя, столицы Византийской империи, отправилось несколько ко-раблей на поиски новых плодородных земель. Нелёгким было плавание, потому что штормами и бурями встретил море-плавателей Понт Аксинский – Черное море. Но не стало лю-*

*дям легче и тогда, когда утихла буря. На волны опустился густой туман, он закрыл и горизонт и море...»*

Колёка не заметил, как руки сами собой опустились, и он поверх книжки оцепенело уставился на Ласку.

Она смешалась. Но ничего не сказала. Спросила одними глазами:

«Что вы смотрите так, будто голодный кот встретил мышку?»

«А как прикажете смотреть голодному коту, когда мышка сама прэльесь? – спросил он тоже одними глазами.

«Мне кажется, в вас есть какая-то тайна...»

«Мне тоже так кажется... Человек без тайны беднее, чем без имущества. Я вижу, вы умница. Это не порок. Даже красавице, такой ягодной хорошке, как вы, ум не помеха... Давайте не ссориться. Влюблённым ссориться всё равно что резать воду ножом».

«А вы не злообидчик?»

«Любовью не обижают... Любовью возвышают... У меня доброе сердце. Большое. Как у кита...<sup>65</sup> А потом... А потом, и птица, летая, теряет перья...»

«И всё же теряет?»

«Увы, богинюшка...»

Разговор глаз напугал её. Она торопливо спросила первое, что упало на ум:

---

<sup>65</sup> Сердце у кита весит 220 килограммов.

– А... А чем отличается поэзия от прозы?

Заикаясь, чего никогда не было с Колёкой, стал он объяснять, тронутый сумятицей её души:

– Ка-ак ч-чем?.. Поэзию пишут в столбик... А прозу – во всю строчку, пока строчка не кончится. Ну-у вот примеры...

*«Мороз и солнце,  
День чудесный».*

Это поэзия. Пушкин. А вот...

*«День был морозный и солнечный».*

Это уже проза... Симонов... Прозка жизни...

– Дя-ядь! Как вы...

– Кактус тебе в карман! Да не надо ж пока аплодисментов!

Я ещё не всё сказал... Тут вот вывернулась ламбада позанозистей... Была у Маяковского чужемужняя грелка во весь рост... А у этой грелки было за всю жизнь четыре мужа, и она под конец дней своих гордо несла такую шелуху: «Я всегда любила одного – одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю»... Я не «про всю Одессу». Я только про первую двойку... Одномандатники<sup>66</sup> Брик и Маяковский в поте лица кувыркались в золотом тепловатом болотце одной этой горячей, любвезадиристой мочалки по имени

*Лиля Брик.*

Тоскливая прозушка. И вот некто... Фамилька выбежала

---

<sup>66</sup> **Одномандатники** – мужчины, сожительствующие с одной женщиной.

из башни и забыла вернуться. Так вот он только из имени и фамилии сваял целую шедевреху:

«*лиля,  
брик!*»

Всего-то и горячих трудов! Имя и фамилию сочинялка по лени и экономности написал маленькими буквушками да обронил, наверно, по нечаянке между ними запятуху и – получите классику с восклицательным знаком на конце! Расшибец!

Что значит одарённый товарищ гражданин. Кинул запятую и восклицательный – уже поэт! И как он полз-выкруживал к этой классике? Шофёр – курьер – младший подчитчик – подчитчик – старший подчитчик – младший корректор – корректор – старший корректор – завхоз – библиотекарь – секретарь – этапы большущего пути! Двадцать лет прел на этом этапе и всё на одном месте. В журнале. На месте и камень мохом накрывается. А наш пострелун, если позволишь так сказать, оброс постом главного редактора этого журнала! И это не байка. Вычитал я всё это из газеты!.. А скакал когда-то этот вертляк курьером. Я сам разготов дунуть в курьеры!

Вождь что нам вбубенивал? «Любая кухарка может научиться управлять государством!»

Сам же вождь почему-то забыл свеликодушничать и на миг не презентовал свои вожжи ни одной стряпке. И минуты не дал порулить. Нерасторопная кухарка так пока и не

доехала до государева престола. И даже местная поэтка не то Эхматьвдулина, не то Эхматьвтулкина тоже не доехала... А вотушко курьерко впрыгнул-таки в креслице главного редактора! И теперь ка-ак рулюет! Ка-а-ак рулюет!.. Прямо лихач! Ленин в шалаше! И что потрясней поверх всего, ещё преподаёт там... Ну... Где вроде как учат на писателюков! Кру-то-та-аа...

– Дя-ядь!.. Как вы...

– Да отшнурись! Опять же сбила! Ну иди ты пустыню пылесосить!!! Я ж ещё не кончил свою мыслью... Гм... Вообще стихоблуды – приличные мазурики. Друг дружку безбожно бомбят...<sup>67</sup> Как-то на культурном досуге я под ручку с мухой нечаянно забрёл с подплясом в библиотеку... И на такое напоролся! Оказывается, пушкинский стишок про памятник – чистая перепевка оды Горация.<sup>68</sup> Был такой в глубочайшей древности дорогой товарисч поэт Гораций!

Сравним. Построчно.

Первая строчка у товарища Горация:

*«Воздвиг я памятник вечнее меди прочной...»*

И у Пушкина первая строчулька:

*«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»*

Пятая и шестая строчки у дорогого товарисча Горация:

*«Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей*

---

<sup>67</sup> **Бомбить** – грабить.

<sup>68</sup> **Гораций** (65 – 8 до н. э.) – выдающийся поэт «золотого века» римской литературы.

*Избегну похорон...»*

Пятая и шестая строчки у Пушкина:

*«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире  
Мой прах переживёт и тленья убежит...»*

Ну? Так кто у кого слямзил? Дорогой товарищ Гораций не мог. Потому как отбросил кегли за тыщу восемьсот семь лет до рождения Пушкина... И что ж в балансе? Дядь Саша Пушкин просто перевёл чужой стишок. Ну и подпишись под стишком как переводчик. Так нет! Он великодушно оставил нам звонкое высказывание «Переводчики – почтовые лошади просвещения». Да сам почтовой лошадю не пожелал становиться. Быть автором стиха престижней!

– Оно, конечно...

– Уже который век у нас на всех углах гордо квакают:

«Пушкин – наше всё!»

Какие ж мы нищebroды, если наше всё – всего-то лишь один-единственный поэт пускай даже и Пушкин. Нет! Нет!! И нет!!! Нам одного поэта на такую громадную державу мало. Наше всё – это Толстой, Достоевский, Шолохов, Лермонтов, Кольцов, конечно же, Пушкин и... и... и... и... и... и... и... и... Вот наше всё!

Или вот вспомнил. Жила частушка:

*Раньше были времена,  
А теперь моменты.  
Даже кошка у кота  
Просит алименты.*

Но гражданину А.Пьянову не понравилась наглая мама кошка с её претензиями на алименты, и он спioniерил у товарища народа эту веселушку. Уволив кошку без выходного пособия, слегка подмараетил частушку и выдал за свою эпохалинку:

*Раньше были времена,  
А теперь моменты...  
Стала сдержанней страна  
На аплодисменты.*

И мы гордо зажмём аплодисменты. Не станем аплодировать литературному шалунишке. И не посмотрим, что он был когда-то главным редактором журнала «Крокодил»... Или... В 1906 году Борис Зайцев опубликовал рассказ «Тихие зори». А другой Борис, который Васильев, через 63 года явил повесть «А зори здесь тихие». Подбавил всего шесть своих буковок – и название наше!.. Ты заметила, как часто встречается цифра 6?

– Дя-ядь...

– Погодь с песнопениями... Я тут ещё вспомнил про Пушкина. Как он жестоко резанул Радищева, его «Путешествие из Петербурга в Москву»...<sup>69</sup> Я абсолютно не согласен с кри-

---

<sup>69</sup> «Путешествие в Москву», причина его несчастья и славы, – пишет Пушкин, – есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря уже о варварском слогe. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие

тикой Пушкина! Ни за что так выполоскать! Видите, у Радищева варварский слог! Для Пушкина язык простого народа – варварство. Конечно, приплясывая на царских балах, он слышал другую, вымороченную речь с французскими колленцами. Простой же люд говорит так, как говорит. И этот простой люд Пушкин видел только из кибитки. Оттого-то у Пушкина герои говорят на безликом, поролоновом языке! В рассказе Радищева о несчастном состоянии народа Пушкин увидел только пошлость. Это в какие-нибудь рамки лезет?..

– Дя-ядь! – в восхищении сложила руки крестом у себя на груди шевелилка. – Ка-ак же вы всё это чётко!.. Вас бы к нам в литкружок... Вы такой большой... Вот бы вам и в баскет... А то что я?.. Где ж такие Добрыни Никитичи да Ули<sup>70</sup> растут?

– В деревне. У мамки на печке.

Разговор обломился.

С усилием Колёка угнул голову в книгу и стал читать вслух:

*«Много дней блуждали в неизвестности моряки. На судах уже кончилась пресная вода и пища. Люди, ослабевшие и утомлённые, пали духом и покорно ждали гибели.»*

---

вельмож и прочие преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного»

<sup>70</sup> Рост баскетболистки сборной страны Ульяны Семёновой 212 сантиметров.



*Но однажды ранним утром подул лёгкий спасительный ветерок. Молочная пелена тумана заколебалась и медленно начала расплываться. Сверкающие солнечные лучи ударили в глаза людям, и они увидели зелёно-лиловые горы.*

*– Ялос! Ялос! – закричал дозорный.*

*То была прекрасная Таврида, сказочная страна, где не бывает зимы, где воздух, наполненный морской влагой и ароматом трав, лёгок и целебен.*

*Уставшие путешественники воспрянули духом, налегли на вёсла и направили свои корабли к манящему берегу.*

*На благодатной земле по соседству с местными жителями они основали своё поселение, которое и назвали столь дорогим для себя словом ялос, что означает по-гречески берег.*

*С тех пор, говорят, город и называется Ялтой».*

Легенду про Ялту Колёка кое-как дохлопал по диагонали и снова наставил волчьи глазищи на Ласку.

Она чистила картошку и вмельк наблюдала, как с неё не спускают голодных шарёнок.

Гордость нарастала у неё на сердце.

«Конечно, – млея, судил-рядил Колёка, – за мечту платить не надо... Но где гарантия, что я, взятый от сохи, не помну эту мечту? А в отдалёке облизываться разве гладше станешь?.. Ти, нет уж. Лучше лёгкий надлом в душе, чем роскошные похороны...»

И Колёка трудно собрал свой дух. Чуже ухнул:

– Вот что, вертушок... Приготовь там чего на денёшек и марш отсюда назад под тёткин досмотр!

Ласка смертно обиделась, что приняли её за малявочку, повернула всё в каприз:

– Фикушки вам! Я противна, да? Так в пику вам никаких тётушек! Знайте, я там уже откреплена... Снята с тетушкиного контроля и довольства!.. И вообще я дома! Дома!.. Вы хоть это понимаете? До-ма! – по слогам выкрикнула она. Ну почему вы все меня гоните?.. В мае – едут квартиранты! – мать выпихивает к тётке до самых холодов. Всё лето и осень терпужишь у тётки не в огороде, так в саду. Не в саду, так дома. Как рабыня!.. Ворочаешь чище лошади. Даже некогда

сбегать окунуться в море... Тётка за меня платит матери... В другое время как какой фраерок на порог – Ласа, ладушка, собирайся к тётке! Нафик такой мне график?!... Да в конце концов имею ли я право жить у себя дома?

– Детонька... ти... послушайся... – покаянно забормотал Колёка. – Христом-Богом прошу... Уходи... Линяй с горизонта. От греха надальше...

С напускной серьёзностью большая притворяшка Ласка внимательно оглядела его с ног до головы. Прыснула в кулачок с недочищенной картошиной, с которой свисал, потягиваясь, завиток кожиры.

– Это вы-то грех?

– Он самый! – сквозь зубы пальнул Колёка и зачем-то указал на Топу, дремал на дерюжке у облезлой кушетки.

Колёка больше не стал с нею говорить.

Молчал перед телевизором, ждал, пока жарилась картошка.

Молчал, пока ели тут же на кухне без света уже под потёмочками.

– Одначе картошка у дочки вкуснее против маманькиной, – сожалеюще отметил он и грустно подпёр щёку.

– Спасибочки! Чого ще? – шутливо кинула Ласка.

– Молодца! Хорошо жарить, хозяйюшка! – подхвалил Колёка и на раздумах пропел:

– Чи гепнусь я, дрючком продертий,

Чи мимо прошпандорэ він?<sup>71</sup>

Он взял её руки в свои, поцеловал её и в одну, и в другую раскрытую ладошку, повитую бодрим, радостно-хмельным луковым духом.

Она не противилась, с любопытством ждала, что же ещё будет. Она слышала где-то, что пустую руку не лизут.

Он крепко, как клещами, обнял её и эх ну жечь поцелуями, угарно, суматошно поталкивая к кушетке.

– Милый дядюшка! – дразняще засмеялась она откуда-то из-под его мышки. – Простите! Не забыли ль вы, что я несовершеннолетка? Ой! Наш инвалид без пороху палит!

Его будто обухом угрело в лоб.

Он опустил крылья, сник, выпустив её.

Как ни в чём не бывало она озорно подхватила пустую сковородку с табурета, с превеликим весёлым усердием накатилась скрести её в раковине.

«Ни хераськи себе... – подгорюнился Колёка. – Шёл за шерстью, а возвращаюсь стриженным сам...»

Потоптался, потоптался на порожке и на вздохе побрёл к себе в комнату.

По телевизору шла заставка к «Спокойной ночи, малыши».

Он дрогнул, когда заставка загремела на всю мощь. Огля-

---

<sup>71</sup> Вольный перевод на украинский из пушкинского «Евгения Онегина»: Паду ли я, стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она?

нулся.

Ласка стояла в дверях со сковородой и озоровато показывала ему язычок.

«Заяц выбегает там, где его меньше всего ждёшь...» – почему-то подумалось ему.

В комнате стало совсем темно.

На душе было славно, славно оттого, что та дурь, которой он так боялся, не случилась. Ему было так хорошо, будто наново родился.

«Как звоночек вовремя прозвонил... У-умница!!! «Не забыли ль вы?..» Умница-разумница...»

Он счастливо улыбался, засыпая...

Его разбудил дождь.

Он прислушался. Кругом лежала мёртвая тишина.

Что сейчас? Вечер? Глухая ночь? Иль предутренний час?

Дождина норовисто остукивал крышу, точно вбивал в неё капли-гвозди.

Вспомнилась вкусная картошка.

«Кто возле мёда трётся, к тому что-то да липнет...»

Колёка блаженно потянулся.

«Коту то и надо, чтоб его привязали к колбасе...»

Вспомнилось всё то, что навернулось вслед за вкусной картошкой.

«Трусляй! – осудительно крикнул в нём тонкий, занозистый голосок. – Разве ты мужик? У тебя в прихожей, за фа-

нерной дверкой, которая только из твоей комнаты и закрывается на крючок, спит экая белокурая газелька. А ты, дубарь, дрейфишь к ней подступиться! Чужая кровать – не зевать!»

«Действительно, – согласился он с голоском в себе. – Хулио за улио? Пчёлы есть, а мёду чёрт ма!?!.. При пчёлке без мёду...»

Он скосил глаза на дверь, за которой спала *пчёлка*.

«Уха-а... Терпение и умение, говорил паук, плетя сети для своей неприступной паучихи... Внимай, дубиньо! Неукоснительно чти обряд соблазнения... Может, встать и пойти?.. А ну с перепугу подымет весь дом?»

Уже спущенные на пол ноги снова ужал под простынку.

«Лежать, Мухтар, лежать. Вызову-ка я огонёк на себя. Но как?..»

Ему вспомнилась потешная сказка.

Ещё в школе, в первых классах, проходили.

Вёз мужик рыбу. Увидала лиса. Захотелось лисоньке рыбки. Но как возьмёшь?

Выбежала лиса на дорогу. Легла. Прикинулась мёртвой.

Подъехал мужик.

Лиса ему понравилась. Бабке, говорит, на воротник пойдёт. Кинул лису на сани и едет дальше.

Сам сидит впереди. Лиса за спиной потихоньку рыбку за рыбкой только швырь, швырь, швырь на дорогу.

Сбросила с саней всю рыбу и сама соскочила...

«Лиса прикинулась мёртвой. Увлеклась. Далече зашла. Я

так далеко заскакивать не стану. Прикинусь-ка я, брахмапутра, всего-то умирающим лебедем... Кто не надеется на победу, тот уже проиграл... Проиграл-с!...»

Колёка на пробу задушенно простонал.

Наставил ухо.

За дверью движения никакого. Эффект нулевой.

«Всё равно у дикой дыни хозяин тот, кто нашёл её первым!...»

Он застонал громче. Жалобней. Требовательней.

За своим стоном не услышал, как Ласка встала, на одних пальчиках прожгла к двери и чуть приоткрыла. Вставила в неё свою головку.

– Дя-ядь! – позвала. – Проснитесь... Вы во сне стонете?

– Кажется, наяву, – разбито выдохнул Колёка и подумал:

«Ти... Надежда не кормит, но подогревает!»

– Что с вами?

– З-знобб-бит... Плохо... Подойди, быстриночка...

– Но вы же мужчина!

– Не исключено... Возможно... Прошу...

Ласка была в белой сорочке до пят. Вошла. И пошла не к Колёке, а к стенке. Забухала тугим кулачком.

– Ты чего соседей будишь? – насыпался Колёка.

– Бабушка у нас водится с травками. Всем во дворе помогает.

– Дурашка! Не выросла та травка, чтоб мне помогла... Не поможет мне твоя бабушка... Не маячь белым привидени-

ем. Подойди сядь. Положи свою ручку мне на радиатор, – он мёртво уронил руку себе на грудь, – и послушай. Тишина... Отстучалось родное... Подойди, непритрога... Сядь...

– Подойти да ещё и сесть к вам? Разве это прилично?

– Неприлично посидеть у умирающего? – фальшиво подпустил он.

Она поймала его развалистое притворство и, не теряя нити игры, с деланной искренностью любопытствовала:

– Вы умираете? Точно?

– Как в аптеке... Всё можь быть. Жизнь полна неожиданностей...

– ... и глупостей! – твёрдо добавила она и быстро пошла назад к двери.

– «Тот, кто жизнь без глупости провёл, тот умным сроду не был!» – в дурманном запале назидательно прокричал Колёка гётевское изречение.

Гёте остановил девушку.

– И помни, радостинка!.. «Когда глупость доводится до абсурда, она становится мудростью»!

– Похвально! Похвально! – задоря, подстегнула Ласка. – Продолжим наши танцы. Что ещё такое вы знаете? Я в тетрадку записываю мысли великих. Слышите, аксакал?

– Впиши вот эту поскорейше, покуда не выпустил из памяти... «Любовь, любовь, когда мы в твоих путях – к чёрту предосторожность»! – В самозабвенном, безотчётном порыве Колёка сошвырнул с груди простынный край себе на ноги



и тут же, испугавшись, как бы не отпугнуть ангелочка, как бы вообще не сломать всю обедню, снова надёрнул целомудренную простынку до самого подбородка. – Ещё... Мерещится в голове... Ага, вот... «Любовь, как и смерть, не выгонишь вон».

– Что вы говорите!

– «От любви до сумасшествия дорога не такая уж долгая»... «Безразличная к любви девушка подобна розе без аромата»!

Она засмеялась и осмелело двинулась к Колёке.

– И кто это тут у нас без аромата? Что это вы, дядюшка, съехали на любовь? Умереть не встать! Наверно, у вас жар?!

Неожиданно, вызываясь села на край его кровати.

Положила руку ему на лоб.

– Горячий! – с лёгким выронила удивлением.

– У меня всё-о гор-рячее-кип-пячее!.. Бери, пока отдаю за так всю душу, жизнь и сомбреро!.. За так! Нашармака! Дуранюшка... Царица моей души... Разве важно, когда *это* сварится?.. Сегодня?.. Завтра?..

Она не выловила смысла в его мешанине слов, дуря бросила:

– Сегодня ни за что! А завтра будет послезавтра!

Стальная ветвь молнии в дрожи на миг посветила в окно, облила всё ликующе-белым, и в следующее мгновение в комнате стало темно, как в погребе.

«Была не была! Музыкант музыканту не платит за сере-

наду! Да-с!..»

Колёка судорожно обжал её железными обручами, накрыл рот поцелуем, и она инстинктивно вжалась в него всем тугим пылким телом. Начисто всё спутала. Совсем забыла, что ей-то надлежало сопротивляться.

У Колёки хватило духу вовремя обломить свою дурь. Оттолкнул Ласку и велел ей уходить. Уходить вообще назад к тётке. От греха подальше.

Ласка так и сделала.

Он легко вздохнул, что всё так крутнулось. Слава Богу!

Подальше от Ласки, пока не грянула беда... Да и от Капитолины не пора ли отчалить к своим дочкам, к Татке?.. Почудил и хватит. Бежать, бежать из Ялты! Но не вдруг.

Он помнил наказ мудреца, вычитал в книжке: «Ничего не начинай в гневе. Глуп тот, кто во время бури садится на корабль». И он не сядет. Побережётся. А потому в обстоятельности принялся обдумывать, как отбыть из Ялты истиха. Без шума.

Во вчера убегают деньки.

Кажется, Капитолина с Колёкой внешне довольны друг другом. Веселы. Беззаботны.

Капитолина ещё круче покруглела и уже не влазит в свою дверь.

– А как же ты всё-такиходишь в дом? – спрашивают её.

– Бочком и на глубоком выдохе! – хохочет Капитолина.

Колёка всё чаще задумывается в растерянности над тем, что пора бы уже и вернуться к своим в деревню.

В его обязанности входит лишь эффектное присутствие при обряде разлучения квартирантов с деньжонками.

В нужный момент он, весь в коже, весь на кнопках, на молниях, на застёжках, в сомбреро, в дорогих импортных джинсах, в лаковых туфельках на аршинных каблучищах вшатывается в комнату этакой небрежно-ленивой раскормленной горушкой, становится позади Капитолины, масляно клонит лицо к её голове и привычно, бодро восклицает:

– Вас приветствует солнцеликая Ялта!

Все улыбаются. И шелестухи в полном составе как-то сами собой быстро и легко перескакивают в новые руки. Чистенькие. Сытые. В холе.

И не было случая, чтоб Капитолина недополучила хоть грошик.

И всё ж проблеснул день, когда Колёка вернулся-таки в деревню.

К своим.

В истомном роздыхе привалился он к тёплой своей калитке и побито долго смотрел, как Татьяна с дочками споробирали на солнцежоге в садке рясную смородину.

«Все в деле, один я в наблюдателях от ООН...»

Колёку не замечали.

Это-то и подпекло его.

Он вскинул вождисто в приветствии руку.

И крикнул:

– Милые Дамы!.. Дорогуши! Вас приветствует солнцели-  
кая Ялта!

Но никто из троицы и не шелохнулся.

Не повернул к нему даже лица.

За работой в дальнем углу садка его не услышали.

Он медленно приоткрыл калитку и как-то бочком, в нерешительности протиснулся в неё и на вздохе виновато побрёл в глубь своего сада.